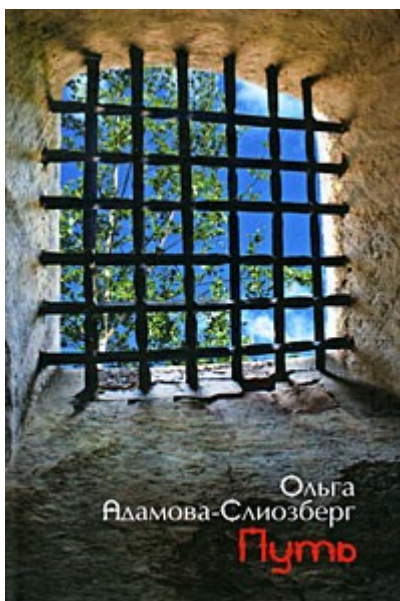


Ольга Львовна Адамова-Слиозберг Путь



Аннотация

Книга воспоминаний Ольги Адамовой-Слиозберг о её пути по тюрьмам и лагерям — одна из вершин русской мемуаристики XX века.

Ольга Львовна Адамова-Слиозберг Путь



Вместо вступления

Я реабилитирована.

Двадцать лет этот час казался порогом в лучезарное будущее. Но вместе с радостью пришло чувство отверженности, неполноценности. Никто не вернет лучших в жизни двадцати лет, никто не воскресит умерших друзей. Никто не скрепит порвавшихся и омертвелых нитей, соединявших нас с близкими.

Возвращение к жизни — тяжелый процесс.

И тут как никогда важно подсчитать свой капитал: с чем ты вернулся, чем ты владеешь.

У тебя нет крова над головой, у тебя нет денег, у тебя нет физических сил. Твое место занято, потому что жизнь не терпит пустоты и кровавая рана, которая образовалась в плоти жизни, когда оттуда вырвали тебя, заросла. Твои родители умерли, твои дети выросли без тебя. Ты двадцать лет не занимался своей работой, ты отстал и можешь быть лишь подмастерьем там, где твои товарищи стали мастерами. А трудно быть подмастерьем в пятьдесят лет. Казалось бы, все очень плохо. Казалось бы, ты банкрот.

Но если эти годы ты честно думал, смотрел, понимал и можешь рассказать обо всем людям, ты им нужен, потому что в сутолоке жизни, под грохот патриотических барабанов, угроз и фимиама лести они не всегда могли отличить ложь от правды.

И горе тебе, если ты ничего не понял, ничего не вынес из бездны, в которой оказался. У тебя все отнято, и никакая бумажка не вернет тебе места в жизни.

У тебя осталось только то, что есть в твоей душе.

Ты или нищий или богач.

Эта книга зародилась в 1937 году, через год после того, как меня арестовали.

Сначала я не думала о книге. Думала о том, как объясню сыну и дочери, что их мать и их отец стали "врагами народа". Я думала об этом все ночи. Самое трудное в заключении — это научиться спать. Я училась этому три года. Три года я лежала тихо-тихо ночи напролет и мысленно рассказывала. Обо всем. Не только о себе. О товарищах по несчастью, с которыми меня свела судьба, об их горестных страданиях, трагических случаях их жизни. Когда свершалось что-нибудь потрясшее меня, я ночью "вписывала" это в мою устную повесть. И она становилась все объемистее и объемистее.

Так создавалась эта книга.

Она жила во мне все эти годы.

Щепка

В 1935 году я наняла к детям няню. Это была работящая, чистоплотная женщина тридцати лет, очень замкнутая. У меня не было привычки интересоваться ее внутренней

жизнью. Маруся казалась туповатой, равнодушной, с детьми была не очень ласкова, скупа и прижимиста, но исполнительна и честна.

Мы прожили с нею бок о бок целый год и были довольны друг другом.

Однажды во время обеда Маруся получила письмо. Прочитав его, она изменилась в лице, легла на свою постель и сказала, что у нее болит голова.

Я поняла, что у Маруси случилось несчастье. Сначала она не отвечала на мои вопросы и лежала лицом к стене, а потом села на постели и хриплым, злым голосом закричала:

— Знать хотите, что со мной? Извольте, только не прогневайтесь. Вот вы говорите, жить у нас хорошо стало? А я вот жила с мужем не хуже вашего, детей у меня было трое, получше ваших. Своим горбом дом наживала, скотину выхаживала, ночи не спала. Муж на все руки был: валенки валял, шубы шил. Дом был полная чаша. Работницу держали, так ведь это не зазорно, не запрещено. Вот вы держите работницу, ну и я держала в доме старуху матери в помощь, а в поле сама спину гнула.

Только в тридцатом году зимой поехала я в Москву к сестре на роды, помочь, а в это время наших начисто раскулачили. Мужа в лагерь, мать с детьми в Сибирь. Мать мне письмо прислала — притулись как-нибудь в Москве, может, поможешь чем, а здесь хозяйства никакого, заработать негде, с ребятами в землянке мучаюсь.

Ну, я с тех пор по домработницам хожу, что заработаю — все им посылаю. А вот пишут — умерли мои дети.

Она протянула мне письмо. Писала соседка: "От мужика твоего три месяца ничего нет, слышали, канал роет. Дети твои с бабкой жили, все хворали. Землянка сырая ну и питанья мало. Ну ничего, жили. Мишка твой с моим Ленькой дружил, хороший парень был. А только начала валить ребят скарлатина, мои тоже все переболели, еле выходила, а твоих Бог прибрал. Мать твоя как без ума: не ест, не спит, все стонет, наверное, тоже скоро умрет".

В этот вечер я никак не могла дождаться мужа. Он был доцент университета, биолог, и, с моей точки зрения умнее и ученее его не было на свете человека.

Страшная тяжесть давила мне сердце. Мир, ясный понятный и благополучный, заколебался. Чем же виновата Маруся и ее дети? Неужели наша жизнь, такая чистая трудовая, неужели она основана на незаслуженных страданиях, крови?

Пришел муж, как всегда, возбужденный после лекции, с радостным чувством хорошо поработавшего человека перед отдыхом в кругу любимых людей. Дети бросились к нему, вскарабкались на спину. Ничего на свете я не любила больше вида своих визжавших от радости ребят, штурмующих широкую спину отца. Но сегодня я перехватила Марусин тяжелый взгляд и поскорее прекратила эту сцену.

Я вызвала мужа в другую комнату и рассказала ему обо всем. Он стал очень серьезен.

— Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков — кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж не виновен. Зря в лагерь не сажают. Подумай, не избавиться ли тебе от Маруси, много темного в ней... Ну, я не настаиваю, — прибавил он, видя, как изменилось мое лицо, — я не настаиваю, может быть, она и хорошая женщина, может быть, в данном случае допущена ошибка. Знаешь, лес рубят — щепки летят.

Тогда я впервые услышала эту фразу, которая принесла так много утешения тем, кто остался в стороне, и так много боли тем, кто попал под топор.

Он еще много говорил об исторической необходимости перестройки деревни, об огромных масштабах творимого на наших глазах дела, о том, что приходится примириться с жертвами... (Я потом много раз отмечала, что особенно легко с жертвами примиряются те, кто в число жертв не попал. А вот Маруся никак не хотела примириться.)

Я ему поверила. Ведь от меня-то все эти ужасы были за тысячу верст! Ведь я-то жила в своей семье, в мире, который казался непоколебимым. Надо было поверить, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным человеком. Да ведь я и привыкла ему верить, он был честен и умен.

А Маруся нянчила наших детей, хлопотала по хозяйству и только иногда, чистя картошку или штопая чулок, неподвижно глядела в стену, и руки у нее опускались, а у меня оживал червяк, сосущий сердце.

Но я быстро себя успокаивала: лес рубят — щепки летят.

Начало крестного пути

*И свет не пощадил,
И Бог не спас.*

В одну обыкновенную субботу я вошла в свой дом, полная мыслей о том, как проведу воскресенье, о том, как обрадуется дочка кукле, которую я ей несусь, как будет восторгаться сын слоном, которого завтра я ему покажу в зоопарке.

Я всегда говорила, что я не обольщаюсь, как другие матери, и вижу недостатки своих детей. Но я лгала. В глубине души я знала, что таких умных, красивых, обаятельных детей, как у меня, не было ни у кого на свете.

И я вошла в свой дом после работы, зная, что впереди чудесный субботний вечер и чудесный воскресный день.

Я отворила дверь. Меня поразил чужой запах сапог, табака.

Маруся сидела среди полного разгрома и рассказывала детям сказку. Груды книг и рукописей валялись на полу. Шкафы были открыты, и оттуда торчало всунутое наспех белье. Я ничего не поняла, мне даже в голову не пришло ни одной мысли, только стало страшно, предчувствие несчастья оледенило душу. Маруся встала и тихим, странным голосом сказала:

— Ничего, не убивайтесь!

— Где муж? Что случилось? Он попал под машину?

— Неужели вы не понимаете? Забрали его.

Нет, со мной, с ним этого не могло случиться! Ходили какие-то слухи (только слухи, ведь это было в начале 1936 года), что-то произошло, какие-то аресты... Но ведь это относилось совсем к другим людям, ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных...

— Как он?

— Сидел бледный, передал часы для вас, сказал, что все выяснится, чтобы вы не волновались. Детям сказал, что уезжает в командировку.

— Да, конечно, выяснится! Ведь вы знаете, Маруся, какой он честный, какой хороший человек!

Маруся горько усмехнулась и посмотрела на меня.

— Эх вы, образованная! А не понимаете, что кто туда попал, не вернется. Разве там справедливость?

Но ведь я знала о нем все, знала, что он не мог сделать ничего преступного.

Нет, я буду бодрой, я докажу, что верю в справедливость нашего суда. Он вернется, и этот гнусный запах, этот пустой дом — останутся страшным воспоминанием.

А потом потянулось странное время: дети ничего не знали. Я играла с ними, смеялась, и мне казалось, что ничего не произошло, что мне приснился дурной сон. А когда я выходила на улицу, шла на работу — я глядела на всех людей, как из-за стеклянной стены: невидимая преграда отделяла меня от них. Они были обыкновенные, а я обреченная. И они говорили со мной особенными голосами, и они боялись меня. Заметив меня, переходили на другую сторону. Были и такие, что оказывали мне особое внимание, но это было геройство с их стороны, и я, и они это знали.

Один старый человек, член партии с 1913 года, пришел ко мне и сказал: "Устройте свои дела, может быть, вас тоже арестуют. И помните, на вопросы отвечайте, а лишнего не болтайте, каждое ваше лишнее слово повлечет за собой длинный разговор".

"Но ведь он совершенно невинен! Почему вы мне даете такие советы? Вы, большевик!

Значит, вы тоже не верите в справедливость нашего суда? Вы недостойны партбилета!"

Он посмотрел на меня и сказал: "Запомните мои слова, а по существу поговорим через год".

Я считала ниже своего достоинства прислушиваться к его советам. Я старалась жить так, будто ничего не случилось.

В это время проходил съезд стахановцев шетинно-щеточной промышленности. Когда мы собрались в Витебске, оказалось, что работники этой промышленности встретились впервые со дня создания советской власти. На встрече выяснилось, что в Ташкенте изобретают машину, которая уже десять лет работает в Невеле, что технология, принятая в Усть-Сысольске и дающая блестящий эффект и для качества, и для количества, и не снилась минчанам.

Это была веселая, эффективная и благодарная работа. Я была секретарем съезда, работала целыми днями, забывала, что, приехав в Москву, я опять попаду в пустую квартиру и опять буду носить передачи в тюрьму...

Назавтра после моего возвращения в Москву за мной пришли.

Смешно сейчас вспоминать, но первой моей мыслью было: все материалы съезда у меня, съезд стоил пятьдесят тысяч рублей. Вся работа в набросках, все пропадет, никто не разберет моих записок.

Пока делали четырехчасовой обыск, я приводила в порядок материалы съезда. Я не могла всерьез осознать, что жизнь моя кончена, я боялась думать о том, что у меня отнимают детей.

Я писала, клеила, приводила все в порядок, и пока я писала, мне казалось, что ничего не случилось, что я кончу работу и передам ее, а потом мой нарком мне скажет: "Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!" Я сама не знаю, что я думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я проработала четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата.

Проводивший обыск следователь, наконец, надо мной сжалился: "Вы бы лучше простились с детьми!"

Да. Проститься с детьми... Ведь я расстанусь с ними. Может быть, надолго. Это выяснится, этого не может быть.

Я вошла в детскую. Сын сидел в постельке. Я ему сказала:

— Я уезжаю в командировку, сыночек, оставайся с Марусей, будь умным.

Губки его искривились:

— Как странно! То папа уехал в командировку, теперь ты уезжаешь, вдруг уедет Маруся — с кем же мы останемся?

Я поцеловала его худенькую ножку.

Дочка сладко спала и посапывала, уткнувшись носом в подушку. Я ее перевернула. Она засмеялась и что-то пролепетала.

В первый раз в жизни я поняла, что это значит, когда слезы душат. Я никак не могла вздохнуть, но до сих пор с гордостью вспоминаю, что не показала сыну горя.

Мы вышли из дома.

Закрылась дверь. Сели в машину. Сразу кончилась жизнь обыкновенная, человеческая, с чувствами жены, дочери, матери, работника.

Иногда мелькали в мозгу по инерции какие-то заботы. Что-то недоделано, что-то надо исправить. Собиралась замазать окно. Дует. Сын простудится. Нет, не то. Что-то важное. Мама! Я все скрывала от нее опасность, которая надо мной нависла. Я ее утешала выдуманными сведениями о муже. Теперь она узнает.

Я не обняла ее, когда прощалась в последний раз, я все откладывала разговор с ней, чтобы подготовить ее... Нет. Не это самое главное. Что-то я не доделала... Я хотела идти к Сталину, добиться свидания с ним, объяснить ему, что муж мой невиновен... Нет, не то... Что-то еще я не сделала...

Все. Отрезана жизнь. Я одна против огромной машины, страшной, злой машины,

которая хочет меня уничтожить.

Лубянская тюрьма

Камера во внутренней тюрьме на Лубянке напоминала номер гостиницы. Натертый паркет. Большое окно. Пять кроватей заняты, шестая — пустая. Но окно забрано щитом. В углу параша. В двери прорезано окошечко и глазок.

Ввели меня ночью, когда в камере все спали. Мне указали кровать. Лечь на нее казалось мне столь же немислимым, как уснуть на раскаленной плите. Мне хотелось скорее поговорить с соседками, узнать от них, как проходит следствие, что мне предстоит. Я еще не научилась терпеть молча. Никто ко мне не обратился, все повернулись к стене от света и продолжали спать. Я сидела на постели, а ночь тянулась, а сердце разрывалось...

До подъема было два часа, но я их никогда не забуду.

Наконец в шесть часов в дверь стукнули: подъем.

Я вскочила уверенная, что меня сегодня же вызовут и все объяснится, я докажу, что я и мой муж не виноваты, я сумею убедить, что у меня нельзя отнять детей, что я чиста...

Первая истина, которую я усвоила, гласила, что в тюрьме главное — это научиться терпению, что меня вызовут или сегодня, или через неделю, или через месяц, что мне никто, никогда, ничего не объяснит.

Когда я поняла это (первые два-три дня я каждую минуту ожидала, что меня вызовут, а вызвали меня только на пятый день), я начала оглядываться вокруг и знакомиться с соседками. На Женю Быховскую я обратила внимание из-за заграничного, черного с красной отделкой платья.

"Вот это уже, наверное, настоящая шпионка!" — думала я, видя, как она моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье. Лицо Жени портило нервный тик.

"Я-то не прихожу в отчаяние, — подумала я. У меня-то все выяснится, а ты попала и не можешь совладать со своим лицом".

Как потом я узнала, Женя работала в подполье в фашистской Германии, и уехала оттуда потому, что тяжелая болезнь, сопровождавшаяся неожиданными обмороками, не позволяла ей оставаться в подполье. Один раз она потеряла сознание на улице, имея при себе партийные документы. Ее спас врач-коммунист, к которому она случайно попала.

В 1934 году ее отправили лечиться в СССР, а в 1936 году она была арестована. Одним из главных мотивов обвинения было, что она слишком уж ловко избегала лап гестапо, особенно в случае с обмороком, очевидно, у нее были там связи.

Всего этого я не знала и смотрела на нее с отвращением и злорадством.

Мне было легче сравнивать себя с "настоящими" преступниками. Я казалась себе рядом с ними такой ясной, такой чистой, что не только умный и опытный следователь, к которому я попаду, но и ребенок увидит, что я ни в чем не виновна.

Моя соседка справа, Александра Михайловна Рожкова, миловидная женщина лет тридцати пяти, имела срок пять лет, уже три года пробыла в лагере, теперь ее вызвали на переследствие по делу мужа-троцкиста, которого связывали с убийством Кирова.

Александра Михайловна с утра очень озабоченно стирала, сушила и пришивала к блузке белый воротничок, так как ожидала, что сегодня ее вызовут на допрос.

Она мне рассказывала о лагере, в котором ей жилось неплохо, потому что она работала врачом, и упомянула в разговоре о своем сыне, однолетке с моим, оставшемся у подруги.

— Как! У вас остался сын? Вы его не видели уже три года?!

И эта женщина интересуется каким-то воротничком, спрашивает меня, что идет в московских театрах!

Я ужаснулась. Ведь я не прошла лагерной жизни. Я имела глупость и жестокость сказать:

— Вы, наверное, не так любите своего сына, как я. Я не смогу выжить без него три

года.

Она холодно посмотрела на меня и ответила:

— И десять лет выживете, и будете интересоваться и едой, и платьем, и будете бороться за шайку в бане и за теплый угол в бараке. И запомните: все страдают совершенно одинаково. Вот вы сегодня ночью стонали и вертелись и мешали спать соседям, а Соне (она помещалась напротив меня) десять ночей не давали спать, отдохнуть она может одну ночь. А меня вы разбудили, и я до утра не могла заснуть и думала о своем сыне, которого я, по-вашему, не так люблю, как вы своего, и мне было очень тяжело.

Это был хороший урок. Я на всю жизнь запомнила, что всем одинаково больно, когда режут живое тело.

Соня, о которой Александра Михайловна говорила, что она не спала десять ночей, была хорошенькая двадцатисемилетняя шатенка, рижанка. Судьба ее забросила в Берлин, где она вышла замуж за троцкиста Ольберга, тоже рижанина. Она разошлась с ним в 1932 году и с новым мужем, советским подданным, приехала в Москву. В бытность женой Ольберга она вела вместе с ним кружки русского языка для немцев инженеров, которые ехали на работу в Москву. Всего через эти кружки прошло около ста человек. Это были безработные, просоветски настроенные люди, которые мечтали о России как о земле обетованной. Они работали в России в 1932 — 33 годах. Может быть, между ними и были шпионы и террористы, но меньше всего об этом знала Соня. Однако она явилась главным свидетелем против них. Ее уже три месяца каждую ночь вызывали на допрос, держали у следователя до пяти часов утра, давали поспать один час, а днем не разрешали ложиться. Женщина она была безвольная, бесхарактерная, неумная. Ее убеждали несложными софизмами, которые ей казались неопровержимыми. Допросы шли примерно так:

— Ольберг был троцкистом?

— Да.

— На кружках он вел беседы?

— Да, для практики в русском языке.

— Будучи троцкистом, он не мог не освещать все события в троцкистском духе?

— Да.

— Троцкисты — террористы?

— Не знаю.

Удар кулаком по столу.

— Вы защищаете троцкистов! Вы сами троцкистка! Знаете ли вы, что я с вами сделаю? Вы будете счастливы, когда вас наконец расстреляют! Ваш муж (речь шла о втором, любимом, муже) будет арестован за связь с вами. Советую лучше вспомнить, что вы были комсомолкой, и помогать следствию. Итак: троцкисты — террористы? И Соня подписывала.

— Да.

А потом начинались очные ставки с немцами, которые проходили так: ее вводили в кабинет следователя, где сидел очумевший и мало что понимающий Карл или Фридрих. Он бросался к ней и говорил:

— Фрау Ольберг, подтвердите, что я только учился русскому языку в вашем кружке! Следователь ставил вопрос:

— Вы подтверждаете, что Карл, имярек, был участником кружка Ольберга? Соня отвечала:

— Да.

Карл подписывал:

— Да.

Очная ставка кончалась, успокоенный Карл шел в свою камеру и не знал, что подписал себе смертный приговор. Соня возвращалась в камеру заплаканная и говорила:

— Вот семидесятый человек, на которого я дала ложное показание, но я ничего не могла поделать.

С нею справиться было легко.

Жене Гольцман было тридцать восемь лет. Она вступила в партию в первые дни революции.

Муж ее, писатель Иван Филипченко, был воспитанником Марии Ильиничны Ульяновой и в семье Ульяновых был своим человеком. Он разделял их нелюбовь к Сталину. По этому поводу у Жени с ним были бесконечные столкновения и споры, приводившие Женю в отчаяние, потому что только два человека на свете для нее были дороже жизни: муж, который ввел ее в революцию и которого она считала честнейшим коммунистом и талантливым писателем, и Сталин, перед кем она преклонялась.

После ареста Филипченко Женю вызывали на допросы, сначала с воли, а потом арестовали и водили каждый день. Она приходила с допросов мрачная, никогда не рассказывала в камере ни о чем. Когда мои соседки обучали меня, как держаться на следствии, учили, что много говорить не надо, а то так запутаешься, что и не вылезешь, советовали следить, как следователь записывает твои ответы, а то подпишешь совсем не то, что говорила, Женя резко их останавливала и говорила мне:

— Помните, что, если вы советский человек, вы должны помочь следствию раскрыть ужасный заговор. Часто то, что кажется незначительным, дает в руки следствия нить. Вы должны говорить всю правду и верить, что невинных не осуждают.

Но однажды Женя вернулась со следствия вся в слезах, с красными пятнами на лице и потребовала бумаги для письма Сталину. В этот день она не выдержала и поделилась со мной тем, что с ней происходило. Женя не только мне советовала говорить всю правду на следствии, но и сама считала своим партийным долгом не скрывать ничего от следователя. Таким образом, она передала все высказывания Филипченко о Сталине, а также и все то, что о Сталине говорилось в Горках. За Женю ухватились. Ей дали очень квалифицированного следователя, который сначала обращался с ней как с членом партии, взывал к ее партийной совести, а потом, получив все интересующие его высказывания Филипченко, скомпоновал их и составил последний протокол так, что получалось, будто Филипченко собирался убить Сталина. Вот этот-то последний протокол Женя не подписала потому, что от мнения, что страна вздохнет, когда Сталин умрет, от слов "чтоб ему сгинуть", которые Филипченко часто произносил, до намерения совершить теракт довольно-таки далеко.

Теперь, когда все протоколы, кроме последнего, были Женей подписаны, следователь переменял тактику, он ее ругал, кричал на нее и даже бил. Женя была возмущена и целыми днями писала письма Сталину об извращениях на следствии.

Филипченко, конечно, был обречен, независимо от того, подписала бы Женя последний протокол или нет, но ее убивала мысль, что ему покажут ее показания и он умрет в убеждении, что она его предала. И вот, подписав добровольно все предыдущие показания, она боролась, чтобы не подписать этот последний. Ее тоже стали вызывать по ночам, а днем не давали спать, сажали в карцер. Потом вдруг ее оставили в покое, а через несколько дней простучали в стенку, что Филипченко расстрелян и просил передать товарищам, что он умирает честным коммунистом. Женя была убита. Кроме ужаса совершившегося ее терзало то, что он не передал приветов ей. Значит, он знал, что она дала на него эти страшные показания.

Женя молчала целыми днями и только иногда писала Сталину об извращениях на следствии.

Четвертой обитательницей камеры была Зина Станицына, девушка 28 лет. До ареста она преподавала математику в каком-то горьковском вузе.

Я спросила, в чем ее обвиняют, и она сказала мне, что арестована справедливо, она очень виновата.

— Что же вы сделали? — спросила я.

— Я не сумела разгадать одного нашего преподавателя. Он жил в Москве, приезжал в Горький раз в неделю читать лекции по диамату. Со мной он был откровенен и о многом говорил весьма критически. Мне это казалось признаком большого ума и заботы о родине.

Он ночевал в студенческом общежитии, а вещи свои оставлял у меня на квартире. Там

же он принимал товарищей, которые к нему заходили. Я удивлялась тяжести его чемоданов. Он говорил, что там книги, но на следствии показал, что он троцкист, что в чемоданах была троцкистская литература, и приходили к нему товарищи по оппозиции. Таким образом, выходило, что у меня была явочная квартира.

Я слушала Зину с уважением, она была принципиальна и безжалостна к себе. Но дальнейший ее рассказ поверг меня в удивление.

— Я решила понести наказание и не оставить ни малейшего пятна на своей совести. Я вспомнила, что у нас для преподавателей математики читал лекцию профессор Н. (фамилию не помню). Когда он на доске доказывал теорему, выключилось электричество. Ламп и свечей не было. Я расщепила линейку и зажгла лучину. Профессор закончил доказательство при лучине и сказал: "Жить стало лучше, жить стало веселей, слава Богу, до лучины докатились". Это была явная насмешка над Сталиным, дискредитация его.

— И вы сообщили это следователю?

— Конечно!

— И не упрекали себя за его арест?

— Потом, когда у меня с профессором была очная ставка, стало как-то неприятно.

— Он признал свою вину?

— Сначала отрицал, а потом сказал, что совсем забыл этот случай, тогда не придавал ему значения.

— Но вы испортили жизнь человеку за такую малость!

— В политике нет малостей. Сначала я тоже не поняла всей преступности его реплики, а потом осознала.

Я была потрясена. В наш разговор вмешалась умудренная опытом Александра Михайловна Рожкова (ведь она уже 3 года провела в лагере).

— Ну, важно навести тень на человека, а потом, наверное, у него нашлись еще грехи. Был бы человек, а статья найдется.

Мне не захотелось больше разговаривать с Зиной, но в моей решимости помогать следствию и быть полностью откровенной образовалась трещина...

Следствие

Я просидела в ожидании первого допроса пять дней. Наглядевшись и наслушавшись, я несколько потеряла оптимизм, с которым готовилась объяснить и доказать, что мой муж и я совершенно невиновны. Но все же я считала себя совсем другим человеком, чем мои соседки по камере, связанные с какими-то очень важными людьми, втянутые в политическую борьбу.

Я человек беспартийный, мой муж тоже, он занимается наукой. Может быть, и есть какой-то заговор, но почему я должна отвечать за него?

Я представила себе следователя, умного и тонкого, как Порфирий из "Преступления и наказания", я ставила себя на его место и была уверена, что в два счета поняла бы, кто передо мной находится, и немедленно отпустила бы такого человека на волю.

Наконец меня вызвали.

Попала я к какому-то совсем не важному следователю, лет двадцати пяти. Кабинет был маленький, совсем не роскошный, наверное, днем здесь была канцелярия. В углу стояли две удочки, видно, мой следователь после ночной работы собирался ехать на рыбалку.

После первого допроса следователь записал: я признаюсь, что мой муж был троцкистом и у нас были троцкистские сборища.

Я написала: нет.

И вот так мы просидели всю ночь. Следователь говорил скучным голосом:

— Подумайте, признайтесь, — и смотрел на часы. Через десять минут он снова говорил: — Подумайте. — И снова смотрел на часы. Пока я думала, он ходил по кабинету, несколько раз подходил к удочкам и что-то поправлял.

Следующим вопросом следователя было:

— Что вы слышали о смерти Аллилуевой? Отчего она умерла?

Я спокойно и уверенно ответила:

— Она умерла от аппендицита, я сама читала в "Правде".

Следователь стукнул кулаком по столу:

— Лжете! Вы слышали совсем другое! У меня есть сведения!

И вдруг я с ужасом вспомнила, что месяца два тому назад я была в гостях у старого большевика Тронина, человека, глубоко мною уважаемого. Один из гостей, Розовский, рассказывал, что Аллилуева застрелилась после того, как Сталин при гостях грубо ее оборвал, когда она заступилась за Бухарина. Этот Розовский (он был завмагом) был арестован до меня, мы думали, за какую-то растрату. Он, конечно, мог на следствии передать этот разговор о смерти Аллилуевой в моем присутствии.

Стало страшно. Тронин и его семья будут привлечены за распространение антисоветских слухов. И ведь... "был бы человек, а статья найдется"... Да я ведь уже сказала, что не слышала никаких разговоров о смерти Аллилуевой. А Розовский, может быть, об этом и не говорил на следствии. Вся моя решимость ничего не скрывать от следователя окончательно исчезла. Я повторяла: "Я читала в "Правде", она умерла от аппендицита", — а сама тряслась от страха, что Розовский говорил на следствии о самоубийстве Аллилуевой и я выгляжу лгуньей. Наконец следователь сказал:

— Подумайте в камере. Учтите, что только чистосердечное признание даст вам шанс увидеть своих детей. Упорное запирательство характеризует вас как опытного политического борца. Идите и думайте.

Я вернулась в камеру в половине шестого. Александра Михайловна и Соня решили, что меня, по всем признакам, рассматривают как очень мелкого преступника и я получу от трех до пяти лет лагеря. Женя говорила, что меня освободят. По этому поводу спорили, а я внутренне оледенела: все это так далеко было от того умного и справедливого следствия, которого я ожидала! Я впервые поняла реальную возможность, что меня осудят и я потеряю детей.

И я снова стала мечтать о том, чтоб меня вызвали и я смогла бы доказать, что я неповинна. Мысль о Розовском и его версии о смерти Аллилуевой меня не оставляла. Я не спала все ночи и дрожала от страха.

Через две недели меня действительно вызвали, и все повторилось, вплоть до удочек, которые очень занимали следователя, а меня резали по нервам. Разговора о Розовском не было, и я поняла, что он ничего обо мне не сказал.

Через два месяца меня вызвали в третий раз, и следователь показал мне протокол, подписанный рукой моего мужа, где на вопрос, был ли он троцкистом, муж ответил "Да".

— Как это может быть! — воскликнула я. — Это неправда!

— Это, конечно, правда, но он уж нас помучил, пока мы добились от него признания!

При этом следователь как-то криво усмехнулся, и я поняла, что мужа моего истязали, били, если он подписал такое. Я содрогнулась, на минуту мне показалось, что я сейчас упаду. Потом я поняла одну вещь, и она наполнила меня гордостью за него и любовью: на меня-то он ничего не показал, как с ним ни бились следователи, как его ни терзали! И я поклялась, что не подпишу ложных показаний на него, хотя бы после его "признания" они и не имели значения.

Опять я просидела шесть часов. На этот раз следователь кричал, стучал по столу кулаком, обзывал меня политической проституткой, обещал, что я никогда не увижу своих детей, что их отдадут в детский дом, чтобы изолировать от влияния моей разложившейся семьи. Этого я боялась больше всего потому, что в детских домах детям меняли фамилии, и их уже никогда нельзя было найти. Так говорили у нас в камере. Я думаю, что эти слухи распространяли сами следователи, чтобы нас еще больше запугать.

И я опять вернулась в камеру и опять ждала, но больше меня не вызывали.

Следствие кончилось.

Я была "разоблачена".

Следователь составил материал для суда, в котором он доказывал, что я была преступница, подлежащая тяжелому, мучительному наказанию и изгнанию из жизни.

Он был моложе меня. Где-то он сейчас живет. Я думаю, что его даже совесть не тревожит. Ведь он "исполнял свой долг"!

Методы следствия

Теперь я понимаю, что мне на следствии очень повезло. Оно проходило в начале 1936 года, когда женщин били, только когда их дела считались очень важными для следствия. Но уже в 1936 году не стеснялись использовать материнское чувство для своих подлых целей. Меня все время запугивали тем, что детей заберут в разные детские дома, поменяют им фамилии, и я уже никогда не смогу их найти.

В 1937 году методы следствия стали еще более жестокими.

Мой друг Рая Гинзбург была женой старого коммуниста, активного участника Октябрьской революции. Она сама тоже была членом партии с 1917 года и принимала участие в октябрьском перевороте. До 1937 года ее муж был в числе руководителей Челябинской области, кажется, первым секретарем обкома. В 1937 году и его и Раю арестовали и предъявили им тяжелое обвинение в предательстве, шпионаже, терроре, уже не знаю еще в каких преступлениях. Раю терзали, требовали подписать показания на мужа, но она стойко и категорически отказывалась это сделать. На конец, ей дали последний бой: в одну страшную ночь начался семисуточный допрос (мы такие допросы называли "конвейером"). Следователи менялись, а она должна была семь суток без сна отбиваться от их своры. На седьмой день произошло следующее: следователь вышел и не закрыл двери в соседнюю комнату. Рая услышала голос своего четырнадцатилетнего сына Алика, который в чем-то оправдывался. Следователь кричал: "Ты лжешь, мерзавец! Ты будешь говорить правду? Я тебя уничтожу!" — и тому подобное. Потом ей показалось, что ему заткнули рот, и она услышала звук ударов. Это длилось минут десять. В кабинет следователя, где, ни жива, ни мертва, сидела Рая, вошел начальник ГПУ, который был своим человеком в ее доме и казался ей порядочным. Он сказал ей: "Раиса Григорьевна, вы слышали? Так вот. Подпишите показания на мужа, и я вам даю слово, что завтра отправлю Алика к тетке в Москву. Иначе я не смогу помочь ни вам, ни ему".

Рая, доведенная почти до сумасшествия семь сутками допроса, ужасом за сына, подписала не глядя все показания на мужа и на себя.

После 1956 года я встретила с Аликом. Я спросил его, что у него было в ГПУ. Он сказал, что его вызвали и начали ругать за то, что он ходил в семью арестованных товарищей отца и матери, колот дрова, носил воду, общем, помогал им и отвлекался от своего горя. Следователь кричал на него и ругал, а потом прогнал. Назавтра его действительно отправили к тетке в Москву. Били очевидно, не его, а палкой по дивану.

Я спрашиваю себя, зачем нужно было так терзать людей, совершать такие преступления против человеческой совести, когда проще всего было бы подделать наши подписи. Очевидно, важно было сохранить эти показания для потомства в оправдание своих преступлений. Недаром на наших делах была надпись: "Хранить вечно".

В Бутырской тюрьме, куда меня перевели по окончании следствия, я встретила с молодой женщиной по имени Злата (фамилии не помню). Три месяца тому назад Злата родила двойню. Муж был арестован. Злате дали побыть с детьми и покормить их три месяца. Девочки заболели (неудивительно — мать непрерывно плакала, какое же было молоко?). Одна из двойняшек умерла. Ей было 2,5 месяца. Другая болела. Но три месяца кончились, и Злату арестовали. На допросах ее заставляли давать показания на мужа, ничего общего не имевшие с действительностью, Она отказывалась. Злата просила следователя сказать ей, жива ли ее девочка, выздоровела она или нет. Ответ был один: "Подпишите показания на мужа, тогда я вам отвечу".

Злата ничего не подписала.

Дар матери

В нашу камеру попали мать и дочь. Это был единственный случай, когда родных не разъединили по каким-то соображениям. Матери было семьдесят лет, дочери — сорок.

Мать, внучка сосланного в Сибирь декабриста, чистенькая, домовитая старушка, очень религиозная, внимательно поглядывала вокруг и только руками разводила. Выслушает какую-нибудь горестную повесть, пожмет плечами и скажет: "Давайте-ка лучше пить чай с сухариками. Я посушила на батарее". А сухарики аккуратно нарезаны ниткой (ножей ведь в тюрьме не бывает), хорошо высушены, посыпаны солью.

Дочка, Тамара Константиновна, — врач. Материнская порода чувствовалась во всем: сдержанная, внешне спокойная, всегда подтянутая. А выдержка ей была очень нужна: ей вменяли тяжелое преступление по 8-му пункту (террор). Следователь поклялся добиться признания и применял к ней весь арсенал своих средств. Ее запугивали, били, по 5–8 суток она сидела в холодном карцере на хлебе и воде за грубость на следствии и заpiresательство. Вызывали ее каждую ночь, а днем не давали спать. Бывало придет бедная Тамара Константиновна в 8 часов утра, сядет спиной к двери и сидя хочет поспать. Тотчас окрик: "Не спать!" Так она и мучилась целыми днями. Мать и мы все ее загоразживали, а нас отгоняли.

После отбоя, только она ляжет, лязг ключа и голос дежурного: "Собирайтесь на допрос!" При всей своей выдержке она менялась в лице, и слезы катились из глаз. А мать крестила ее и шептала: "Мужайся!"

Дело дочери оборачивалось плохо, несмотря на то, что она не подписала ни одного протокола. Много было показаний на нее, бессмысленных, явно выбитых, но вполне достаточных, чтобы обеспечить ей 15 лет. (Их она впоследствии и получила.)

А мать почему-то решили отпустить. Почему, никто не знал. Пути следствия неисповедимы, но по целому ряду признаков было ясно, что ее отпустят. И вот однажды вошел в камеру корпусной и вызвал нашу старушку вещами. Мы поняли, что на волю. (Так оно и оказалось.) Милая наша старушка раздала в камере все свои вещи кому расческу, кому зубную щетку, кому теплые носки. Дочери отдала все самое лучшее, а потом перекрестила ее и сказала: "Благословляю тебя материнским благословением и разрешаю, если очень плохо будет, наложить на себя руки. Не надо мучиться. Грех твой перед Богом беру на себя!"

Тамара Константиновна целовала ее руку и плакала, а мать крестила ее, молилась, и такое чудесное, такое светлое было у нее лицо, точно дарила она дочери свое жизнь, а не разрешение на смерть.

Бутырская тюрьма в 1936 году

Через четыре месяца пребывания на Лубянке вечером в двери открылось окошечко, и дежурный сказал: "Слизберг, с вещами!"

Женя Гольцман подошла ко мне: "Видите, я была права, вы идете на волю. Я счастлива за вас. Помните нас, оставшихся здесь".

Мы поцеловались. Женя была очень хороший человек. Она действительно радовалась, думая, что я иду на волю. А другие немного завидовали. Я это знаю по себе: и рада за товарища, если ему повезло, и как-то сердце за себя больше болит.

Жени Быховской уже не было в нашей камере. Кончилось следствие, и ее куда-то перевели.

Александра Михайловна была уверена, что я иду не на волю, а в другую камеру. Соня молчала.

Мы попрощались, и я вышла. Меня в сопровождении конвоира провели во двор и посадили в "черный ворон". Если кто-нибудь не знает, что это такое, объясню: это зеленая закрытая машина для перевозки заключенных. Внутри она разделена на одиночные купе,

такие тесные что люди с длинными ногами должны были их поджимать, а то прищемит дверью. В 1937 году эти машины были столь популярны, что в одной школе первоклассники на вопрос "Какого цвета ворон?" — дружно ответили: зеленого.

Итак, меня засунули в одиночное купе. Я не могла видеть, куда мы едем, я вся дрожала. Где-то внутри еще теплилась глупая надежда, что меня привезут домой и отпустят. "Ворон" остановился. Мы вошли во двор Бутырской тюрьмы.

Был лунный, августовский вечер. В первом дворе росло несколько больших лип, их листья сверкали при луне. Я не видела деревьев всего месяца четыре, но сердце мое так мучительно сжалось, что я чуть не упала. Меня провели во второй двор, голый и мрачный, потом в тюремное здание, проверили дело в закрытом пакете, записали и повели в камеру.

Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами; на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос.

Я растерянно остановилась со своим чемоданом и узлом. Подошла беременная женщина, староста камеры.

— Не бойтесь, — сказала она. — Здесь почти все политические, как и вы. Я сама ткачиха с Трехгорки, Катя Николаева. — Мы поздоровались за руку. — Лечь придется к параше, здесь такое правило для новеньких.

В углу стояла огромная деревянная вонючая параша. Около нее на нарах было свободное место. Я уже хотела устраиваться, когда заметила в противоположном углу камеры около окна два свободных места по обе стороны спящей женщины с длинными черными косами.

— А можно, я лягу около окна? — спросила я Катю. Катя как-то замялась, но ответила:

— Ну что же, ложитесь, но только соседка там не очень хорошая.

Я пошла к окну и легла.

Соседка моя, Аня, видно, была мне рада. В это время принесли кипяток. У меня был сахар, печенье; я ее угостила и начала расспрашивать о людях, лежавших на нарах. О каждом Аня говорила что-нибудь очень плохое. По ее мнению, камера эта была сборищем преступников. Вдруг я заметила на противоположных нарах Женю Быховскую. За четыре месяца, что мы провели вместе, успела полюбить ее, и от прежнего моего убеждения, что она шпионка, ничего не осталось.

— А знаете ли вы эту женщину? — спросила я у Ани.

— О, это подлая шпионка, такую я убила бы собственными руками.

После этого разговора я подошла к Жене. Она по близорукости меня раньше не заметила, а когда узнала, расцеловала и пустила спать с собой. Я молча перенесла вещи и легла рядом с Женей. Аня злобно посмотрела на меня и осталась опять одна на трех местах.

— Что это за человек? — спросила я у Жени.

— Это — бывшая жена К., он красный профессор, очень интересный человек. Он ее оставил и последние годы жил в Ленинграде. Она из мести написала на него заявление, что он скрытый троцкист и двурушник, его посадили, а заодно и ее за то, что раньше не сообщила о его грехах. Сейчас она пишет заявления на всех в камере, и с ней никто не разговаривает. Вас перевели сюда, значит, дело ваше кончено. Жаль. Я надеялась, что вас отпустят. Теперь ждите приговора. Для себя я меньше десяти лет не жду. Ну, у вас дело проще, наверное, отделаетесь пятеркой.

Когда Женя позвала меня лечь рядом с собой, соседка ее, Мотя, встретила меня приветливо. Она оттеснила двух своих соседок, Нину и Валю, приговаривая:

— Ничего, в тесноте, да не в обиде, видите, подружки встретились.

Благодаря Мотиному заступничеству образовалась щель сантиметров в сорок, куда я влезла. Этого мне было достаточно, но одно меня смущало: лежали мы, как селедки голова к голове, а на щеках у Моти были какие-то страшные черные пятна, вызывавшие невольную брезгливость.

Хотя Женя мне сказала, что они не заразные, я невольно старалась закрыть платком

лицо. Мотя это заметила.

— Вы не бойтесь, — сказала она мне, — я не заразная, это я отморозила щеки.

Эти пятна Мотю очень огорчали и угнетали, она по целым часам делала себе массаж, которому ее выучила Нина, и спрашивала, бледнеют ли пятна, ведь зеркала у нас не могло быть.

Мотя была грамотная, но читать, как она выражалась, не приучена. Она меня жалела, что я по целым дням читаю.

— Да вы отдохните, — говорила она и очень удивлялась, когда я ее уверяла, что отдыхаю только с книгой. Мотя же, если не возилась со своими щеками, целые дни лежала с закрытыми глазами и слушала разговоры Вали и Нины. Обе они были красивы и молоды, не старше 30 лет. Нина — жена крупного военного работника, Валя — жена секретаря обкома. Они очень подружились и целыми днями вспоминали о своей прежней жизни. Она им, как и многим арестованным, казалась совершенно лучезарной. Они забыли обо всем, что когда-то омрачало ее, обо всех трудностях и горестях, которые, конечно, были. Им казалось, что Мотя спит, а она жадно прислушивалась и время от времени, обернувшись ко мне, шепотом сообщала свои наблюдения.

— А у Нины-то домработница была; свекровь дома сидела, и домработницу держали.

— Так ведь она работала, а дома ребенок.

— Ну, парню восемь лет, и бабка дома. Нет, просто набалованные!

В другой раз Валя рассказала какой-то смешной случай, как к ним пришел важный, но нежеланный гость. Она спряталась от него в детской, а муж заперся и заснул в кабинете. Гость пил со свекровью чай, а потом вышел на балкон покурить, а муж, выйдя из кабинета, сказал: "Ну, ушел, наконец, болтун!" Мотя посмеялась со всеми, ее черные узкие глазки хитро заблестели, и она сообщила мне на ухо:

— Четыре комнаты было.

— Почему? Детская, кабинет и общая — всего три.

— Нет, у свекрови отдельная была. Она Нинке рассказывала, что свекровь капризная была, с ребенком спать не хотела, пришлось ей свою спальню отдать, а самим в общей спать. Вот жили начальники!

Как-то Нина рассказала, что в то время, когда они с мужем были на курорте, нянька на свой вкус купила их дочке Нелли длинное красное плюшевое пальто и черную меховую шапку.

— Я не узнала дочку, — говорила Нина. — Она была такая изящная, а тут — настоящая матрешка! Ну я тут же пошла и купила ей коротенькую меховую шубку, а это уродство велела няне отдать кому хочет, но чтобы в доме не было.

Мотя присвистнула.

— Слышала, — зашептала она, — новую плюшевую шубу отдала и шапку меховую! Вот жили! У Нинки три шубы было: котиковая, белая меховая и с собой здесь бостоновая с лисой. У Нинки любовник был!

— Откуда ты знаешь, она тебе рассказывала?

— Вале рассказывала. На курорте она одна была, без мужа, а он приехал, говорит, скучно, без вас город пустой! А муж тоже приехал. Так тот ночью сел в машину — и был таков. Вот, одного мужика мало, еще любовник понадобился. Жили начальники!

— Да что ты всех начальниками зовешь? Может, я тоже начальником была?

— Нет, твой муж учитель. Это рабочий человек. А ихние — начальники.

Не любила она начальников! Надо сказать, что некоторые основания у нее к тому были: за свои восемнадцать лет она не раз сталкивалась с "начальниками", и каждый раз эти столкновения приносили ей немало горя.

Моте было двенадцать лет, когда закончилось ее мирное детство в селе близ Тарусы. Детство вспоминалось грибами и ягодами, плесканием по целым дням с ребятами в Оке, поездками в ночное, чудесной бабушкой, которая была первая песенница и сказочница на селе. Училась Мотя легко и радостно.

— Больно я шустрая была к арифметике и еще что сообразить, приспособить. Печку электрическую починю, пробки перегорят — вставлю. Воду из ручья провела на школьный двор. Учительница меня очень любила, все звала "Эдисончик, Эдисончик".

Эта жизнь кончилась в 1929 году, когда родителей Мотю раскулачили и сослали с тремя детьми, из которых старшей была Мотя, на Северный Урал. Привезли их в сентябре в лес, выгрузили и велели строиться. Лил дождь со снегом, кричали бабы, плакали дети. Кое-как вырыли землянки, слепили печки. Скотины не было, кормить детей нечем. В первый же год умерла средняя девочка. Отец с матерью пошли работать на лесоповал, а Мотя оставалась за хозяйку.

— Скучно там, — говорила Мотя. — Лето дождливое, короткое, зима лютая, школы не было. Мать с отцом работают с утра до ночи, а я — братишку нянчу, печку топлю, снег на воду растапливаю, а в землянке сыро, грязно, дымно, ребят по соседству мало, да все тоже с утра до ночи работают. Темнеет рано, керосину мало, сижу с лучиной да с коптилкой, а братишка все простужается да кашляет.

Так Мотя прожила до 1935 года. Исполнилось ей семнадцать лет, но паспорта не дали, как и всем раскулаченным. В доме было плохо, отец ходил мрачный, как туча. Мать и младший братишка все болели. Мотя стала с отцом на лесоповале работать, а мать дома с братишкой. А в 1935 году, после убийства Кирова, отец напился пьяный, да и скажи: "Всех бы их, начальников, не плохо перебить, чтоб народ не мучали".

— Забрали отца, а мать все кашляла, кашляла, да в прошлую зиму оба с братом и померли. Так мне тошно стало, так скучно, что решила я к бабушке в село свое убежать. Паспорта не было, денег не было. Ранней весной в 1935 году собралась. Две пары обуви приготовила, сухарей насушила и пошла пешком.

За три месяца Мотя прошла почти две тысячи километров. Ночевала по деревням, а то и в копне. Как-то, еще в начале пути, в лесу заночевала, уснула крепко, да в утренние заморозки щеки и отморозила.

Одни ботинки сразу же развалились, потом, если дорога была сносная, шла босиком. По деревням где Христа ради кормили, а где поработает. И дошла. Бабушка от радости все плакала, наглядеться не могла на свою Мотю. И правда, если бы не щеки, хороша стала Мотя в свои восемнадцать лет. Маленькая, крепкая, как орешек, складная, с хитро поблескивающими черными глазами и неистребимым юмором и добродушием. Бабушка ее кормила, ласкала, ноги теплым салом мазала, нарядила ее, спала с ней в одной постели, на улицу не пускала, боялась, что увидят кому не следует... Да все равно узнали. Только и прожила она с бабушкой неделю, а потом пришли и забрали за нарушение паспортного режима.

— Ну, все равно я не жалею, что убежала. В лагере людей много, кино бывает, хуже не будет.

Да, бедная, милая Мотя! Тебе хуже не будет, некуда.

Так я стала жить в камере № 105 и ждать приговора. Прожила я в ней три месяца и успела приглядеться и более или менее разобраться в ее обитателях.

Если раньше мне казалось, что, потеряв детей, я не смогу ничем в жизни интересоваться, то сейчас огромность горя, окружавшего меня, заставила выйти из погруженности в собственную судьбу и задуматься о других людях.

На сто женщин нашей камеры была одна старуха эсерка, две грузинские меньшевички и две троцкистки. Все они ходили по тюрьмам и ссылкам от восьми до пятнадцати лет. Сейчас их привезли из политизолятора на переследствие. Для этих людей отношение к правительству, особенно к НКВД, давно определилось: это были враги, с которыми нужно бороться. Для троцкисток самым главным врагом был Сталин, которого они называли "папуля", спрашивали, издеваясь над нами: "Почему "папуля" вам не помогает, ведь вы его так любите? "

Эсерка и меньшевички Сталина просто презирали и считали тупицей, а ненавидели Ленина, который, по их мнению, уничтожил демократию и тем открыл дорогу всякому

беззаконию.

1936 год, с их точки зрения, был только деталью. Отчасти они были даже рады — сбывались их самые мрачные предсказания.

Им было морально легче, все было ясно, все стояло на своих местах. Легче им было еще и потому, что они привыкли к тюрьме, втянулись в ее страшный быт. С волей уже оборвалась связь, у них не было ни детей, ни родителей, а мужа их давно погибли или, как и они странствовали по тюрьмам.

Обо всех городах они говорили с точки зрения тюрьмы. Например:

— Вам нравится Орел?

— Что вы! Каменные полы, прогулочные дворы огорожены высоким забором.

— А Самара?

— Город неплохой, но в бане дают мыться всего пятнадцать минут.

Они умели отстаивать свои права, знали все законы, и тюремное начальство их побаивалось. Им сразу выписывали диетпитание, если они нуждались — направляли в больницу.

О политике они говорили как о деле совершенно ясном: революция погибла десять лет тому назад (меньшевичка и эсерка говорили, что пятнадцать), страна идет к краху и чем скорее он наступит, тем лучше. Они смеялись, когда им рассказывали о глупостях, которые делают руководители хозяйств (я им не рассказала, как в Ташкенте изобретали машину, которая десять лет работала в Невеле). Они были уверены, что, если разразится война, советская власть рухнет, как карточный домик.

Со скрытой радостью встречали они новые партии арестованных, особенно коммунистов, которые когда-то травили их, а теперь разделят с ними тюремные нары.

Прислушиваясь к их разговорам, я заметила, что они очень плохо знают советских людей, даже их быт. Да и откуда им было знать нашу жизнь, ведь они смотрели на нее из-за тюремной решетки.

Я смотрела на них, и мне так не хотелось попасть в их среду. Я так боялась, что моими воспоминаниями будут тюрьмы, а надеждами — хороший политизолятор с отличной библиотекой и садом для прогулок.

Кроме этих пяти женщин, все остальные девяносто пять человек уверяли, что они невиновны. Только некоторые, наиболее выдержанные партийки воздерживались от рассказов о своих "делах", остальные же испытывали непреодолимую потребность говорить, рассказывать, советоваться, спрашивать мнения о том, что их ожидает.

Очень многих просто оговорили, другие же были "виноваты", но не знали об этом. Ведь никому и в голову приходило, что рассказать или выслушать анекдот, который знает вся Москва, называется совершить преступление по статье 58–10, т. е. вести агитацию против советской власти, караемую лишением свободы до десяти лет. Никто не думал, что если муж, делясь с женой, ругает, предположим, Кагановича или Молотова, или, не дай Бог, Сталина, то жена обязана сообщить об этом в МГБ, в противном случае она совершает преступление по статье 58-1 (недонесение) и ей грозит лишение свободы до восьми лет.

Никто не считал также преступлением знакомство с бывшими оппозиционерами: раз им разрешено жить и работать в Москве, а многие из них даже восстановлены в партии, почему нельзя с ними общаться?

Вначале я пыталась не доверять горестным повестям, которые мне рассказывали. Ведь если все так же невиновны, как я, значит, произошло ужасное вредительство. Значит — лгут газеты, лгут речи вождей, лгут судебные процессы. Нет, этого не может быть! Где-то там, в одиночных корпусах, в мужских камерах, сидят эти проклятые заговорщики, из-за которых так все смешалось, что теперь нельзя отличить правого от виновного. Но я не могла не верить людям. Я не могла не верить рассказу старухи Пинсон об очной ставке с Муратовым:

— Я потребовала с ним очной ставки. Меня ввели в кабинет следователя. Там сидел какой-то седой старик с бегающими глазами. Только когда он заговорил, я поняла, что это был Муратов (Муратову было тридцать три года) Я бросилась к нему:

"Андрей Алексеевич, скажите, что все это неправда, что ни в какой террористической организации я не была! И вдруг, можете себе представить, он мне говорит:

"Ах, Софья Соломоновна, довольно запереться! Я уже признался, что мы с вами хотели убить Кагановича. Я советую вам тоже признаться". Вы можете себе представить? Я хотела убить Кагановича! Когда я курицу не могу убить, так я могу убивать Кагановича!

Я не могла не верить Жене Волковой.

Ее, как отличницу, из Горького послали в Москву на первомайскую демонстрацию. В Горьком она имела несчастье состоять в снайперском кружке и хорошо стреляла. На нее был донос, что на демонстрации она должна была убить Сталина. Стрелять она умела только из винтовки, а как можно пронести винтовку на демонстрацию, совершенно непонятно.

Женя целыми днями плакала и боялась за маму, у которой плохое сердце. Политикой она совершенно не интересовалась и считала самым трудным предметом диамат, потому что преподаватель требовал, чтобы студенты читали газеты. Интересовалась она музыкой, учебой и одним мальчиком, очень идейным комсомольцем, который будет теперь "меня презирать потому, что за родину он готов отдать жизнь, а про меня скажут, что я изменница".

Я не могла не верить Софье Соломоновне или Жене, потому что видела их глаза, слышала их стоны по ночам, чувствовала их горе и недоумение. И я махнула рукой на бдительность, которую проповедовали все, даже Женя Быховская, и стала верить своим глазам, своему сердцу.

Самые несчастные люди в тюрьме были коммунисты. Они взяли на себя роль добровольных защитников МГБ.

Они уверяли всех, что в стране был огромный контрреволюционный заговор, и если при ликвидации его были допущены ошибки, то: лес рубят — щепки летят. Они говорили, что нужно вырезать гангренозное место с живым телом, чтобы спасти организм.

Если их спрашивали, зачем на следствии бьют и заставляют давать ложные показания, они отвечали: "Так надо". И против этого уже нечего было возразить.

Все они были уверены, что Сталин не знает о том, что делается в тюрьмах, и без конца писали ему письма.

Сталин был вне подозрений, он казался непогрешимым. Он, конечно, не знал обо всех ужасах, которые происходили. Ну, а если знал, значит, было "так надо".

Так они говорили, так они думали, и каждый факт чудовищной несправедливости, с которым они сталкивались, двойной тяжестью ложился на их плечи: он бил по ним самим, и они чувствовали себя обязанными защищать его целесообразность перед беспартийными, перед людьми возмущавшимися, говорившими о несовместимости таких фактов с советской властью.

Они говорили, что нельзя верить, будто все невиновны, что в этой самой камере много маскирующихся врагов.

Они самих себя обвиняли если не в намеренных преступлениях, то в преступной потере бдительности.

Тяжело им было.

И самым тяжелым было то, что, защищая справедливость и целесообразность действий правительства, они сами теряли веру в эту справедливость.

А ведь их жизнь с молодых лет была отдана партии. Они были ее дети, ее солдаты.

Им было очень тяжело.

А теперь я расскажу, что чувствовала я.

Это очень важно, потому что так чувствовала не я одна, а очень многие люди, неожиданно-негаданно попавшие за решетку как "враги народа".

Мой муж всегда упрекал меня, что я невнимательно читаю газеты, не люблю общих собраний, мало интересуюсь политикой.

Мне самой казалось, что дороже всего для меня моя дети, муж, мой дом да еще литература, которую я любила неразделенной любовью: мне всегда хотелось писать, но я знала, что писателем может быть лишь тот, кто знает или видит больше, чем читатель, а что

я знала и видела в жизни?

Я частенько брюзжала: квартира тесная, того нет, другого нет, заграничные вещи хорошие, а наши плохие.

И вот теперь, когда все на свете толкало меня ненавидеть нашу жизнь, когда надо мной была учинена величайшая несправедливость, я почувствовала, как хорошо я жила. Как хорошо мне было работать и знать, что я делаю нужное и благородное дело. Как хорошо мне было воспитывать детей и быть уверенной, что перед ними открыты все дороги. Как уверенно я ходила по земле и чувствовала ее своим домом, и если в моем доме было неустроенно и бедновато, я сердилась на это и жаловалась, ведь это был мой дом, и я хотела, чтобы в нем было лучше, чем во всех богатых заграничных домах.

Как просто, как легко я чувствовала себя с людьми! Как понятны мне были их желания, их жизнь. Как верила я всем своим существом, что наша жизнь самая справедливая, самая честная. Сейчас в этой жизни остались мои друзья, сестры, братья, дети — все, кого я люблю. Они врачи, педагоги, инженеры, все они будут солдаты, если ударит час войны. Они строят, защищают эту жизнь, не жалея сил и здоровья.

О, если бы я хоть в мыслях возненавидела эту жизнь! Я стала бы внутренним эмигрантом, порвалась бы моя связь со всеми, кого я любила, чем жила.

А все вокруг толкало меня к ненависти. Я искала, но не находила ничего, что могла бы противопоставить могучему доводу, что те, кто так несправедливо разбил мою жизнь, кто не искал истины, а заставлял побоями и недельным лишением сна подписывать ложь, — члены партии. Они за это чудовищное дело получают ордена и награды.

О, как плохо я вооружена! Как мало я знаю, как трудно мне бороться с доводами тех, кто хулит нашу жизнь и желает ей гибели!

И я молчала, мучительно думала, мучительно не хотела перейти в стан врага, мучительно надеялась, что справедливость восторжествует и снова слово и дело будут едины, и снова я смогу любить нашу жизнь без надрыва, без сомнения.

Однажды на прогулке ко мне подошел уголовник, убивавший двор, и шепнул:

— Ягода арестован, на его месте Ежов.

Я принесла эту весть в камеру, и какие надежды она возбудила! Как оживились все, кто предсказывал, что справедливость восторжествует! Как все начали ждать, что нас отпустят на волю!

Но время шло, люди получали приговоры еще более тяжелые. Те, кто при Ягоде получал 3–5 лет, стали получать 10–12. Начали говорить про приговоры в 25 лет.

Постепенно оптимисты замолчали и необоснованные надежды увяли.

Однажды утром открылась дверь и ввели в камеру молодую женщину. У нее было редкое имя — Лира.

Лира вошла уверенно, осмотрелась острым взглядом и прямо направилась к Ане.

Кто-то предупредил ее насчет Ани, но Лира самоуверенно сказала: "А мне она нравится".

Три дня новые подружки разговаривали целыми днями. У Лир было много вкусных вещей, и она щедро делилась с Аней. Аня просто ожила: наконец-то нашелся человек, который ее оценил.

А через три дня Лира собрала свои вещи и перешла на освободившееся место неподалеку от нас с Женей. Она встала на нары, стройная, красивая, задорная, и через всю камеру звонким голосом сказала Ане:

— Имейте в виду, что я провела с вами три дня, чтобы узнать, какие гадости вы писали о моем дорогом К., который имел несчастье быть когда-то вашим мужем. Вы донесли на него из ревности! О, вы были правы, он изменил вам, изменил со мной! Ах, как он любил меня! Какой он был чудесный! Хоть я и попала из-за него в тюрьму, я не жалею, что встретила его.

Аня бросилась, как кошка, на Лиру, но ее задержали, и она как-то захрипела, зарычала, не в силах произнести ни слова.

А Лира подбоченилась, смеялась и даже пританцовывала.

— О, он тоже не жалеет, что бросил вас ради меня! Лучше погибнуть в тюрьме, чем жить с такой злой кошкой! А меня он любил целых три года, и мы были счастливы!

Аня так билась, так рычала, что ее увели в больницу. Через три дня она пришла еще более мрачная и целыми днями лежала, зажав уши и закрыв глаза.

Был вечер шестого ноября 1936 года.

В нашу переполненную камеру вводили и вводили новых арестованных. Лежали на столах, на полу под нарами, в проходе.

Большинство входили со стандартными словами: "Я тут с краюшку. Меня арестовали по ошибке и должны скоро отпустить. Это недоразумение".

На эти слова никто уже не обращал внимания, каждый был занят собой.

Женщину с огромным животом, вероятно, на девятом месяце, пустили, потеснившись, на нары. Дали кто платок, кто пальто, чтобы устроить ее помягче. Она лежала с темным лицом и смотрела в одну точку. Часов в двенадцать ночи она начала стонать, кусать руки. Начались роды, ее увели в больницу.

Это на всех произвело тяжелое впечатление: ведь почти все мы были матерями, представляли, как тяжело родить в таких условиях.

А в два часа ночи открылась дверь и шумно вошла женщина лет тридцати пяти в открытом легком розовом платье, с красивой прической и каким-то цветком в волосах. Женщина громко рыдала и непрерывно говорила. Из слов мы поняли, что первый ее муж был троцкист, он исчез с ее горизонта девять лет тому назад, оставив ей сына Левочку. Сын был хроменький, слабый ребенок. Девять лет она ждала мужа, за другого боялась выйти замуж, как бы он не обижал убогого Левочку.

Наконец она решилась выйти замуж. Пятого ноября переехала к новому мужу, а шестого ее взяли из-за свадебного стола.

Она рассказывала, плакала и непрерывно кричала:

— Левочка мой, Левочка!

Мы уже были взвинчены тем, что завтра праздник, что приводят все новых и новых людей, что у нас в камере начались роды. А тут еще эта невеста в розовом платье, с цветком в волосах и с ее криком: "Левочка мой, Левочка!" Вдруг в одном углу забила в истерике женщина и закричала:

— Мой Юра, Юра мой!

Сразу закричало несколько голосов:

— Ирочка моя!

— Мой Мишенька!

Половина камеры билась в истерике. Я закрылась с головой платком. Я испытывала почти непреодолимое желание тоже закричать: "Мой Шурик, моя Эллочка!"

Но я закусила до крови руку, зажала уши, закрыла глаза. Рядом со мной Женя Быховская дрожала крупной дрожью и тоже молчала. Мы прижались друг к другу.

Открылась дверь, надзор кричал, растаскивал бьющихся в истерике женщин, кого в карцер, кого в больницу, кого в пустую камеру. Через два часа все стихло, все лежали молча.

Наступило седьмое ноября 1936 года.

А двенадцатого ноября мне вручили повестку на военную коллегию Верховного суда. Все были поражены. Мое дело казалось таким мелким, и вдруг меня будет судить Верховный суд!

Я поняла, насколько серьезно мое положение, по изменившимся лицам наиболее опытных сокамерниц. У нас в камере была Соня Ашкенази. Она была троцкистка. Я о ней не рассказывала, потому что она все время молчала и я не знала ее мыслей. Она была в последнем градусе чахотки, очень береглась, чтобы не заразить соседей, ела из отдельной посуды, кашляя, плевала в коробочку и лежала, отвернувшись ото всех к стене. И вдруг эта Соня подошла ко мне, посмотрела на меня своими прекрасными глазами и поцеловала меня в губы. Я поняла, Соня считает, что мне уже не страшно заразиться, что теперь уже все

равно. Как во сне я собрала свои вещи и вышла из камеры. Меня повели в Пугачевскую башню (говорили, что в ней сидел Пугачев) и вручили обвинительное заключение.

Через три дня, на пятнадцатое ноября, был назначен суд.

Суд

*Если меня обвинят в том,
что я украл колокола Нотр Дама
и ношу их в жилетном кармане,
я прежде перейду границу,
а потом буду оправдываться.*

Г.Гейне

Обвинительное заключение было составлено удивительно глупо: там было сказано, что Муратов (товарищ мужа по университету) говорил какому-то Моренко, что он завербовал меня в террористическую организацию с целью убийства Кагановича и что я "могла слышать" какой-то разговор между Муратовым и моим мужем 5 декабря 1935 года.

Это было так фантастично, так неопределенно. Но по этому обвинению мне вменили ст.58 п.8 через 17 — террор, грозившую мне лишением свободы не ниже восьми лет или даже смертной казнью. Все это объяснил мне при вручении обвинительного заключения какой-то полковник. Подписал обвинительное заключение Вышинский, оканчивалось оно словами: "... оказала следствию упорное сопротивление и ни в чем не призналась..."

Я сидела в Пугачевской башне и думала о том, что здесь сидел Пугачев, а сейчас сижу я и что политик очень уж измельчал.

Я надеялась, что на суде встречу с мужем, что и он ждет суда и переживает то же, что и я.

Как всегда, я думала о детях, о том, что сейчас решается, увижу я их когда-нибудь или нет.

Я просидела в этой круглой башне трое суток, и снова в душе моей зрела решимость бороться. Я даже радовалась, что мне будет суд, а не заочная тройка, что я смогу говорить, доказывать. Я в уме повторяла доказательства своей невиновности, вздорности и необоснованности обвинений.

15 ноября меня повезли в "черном вороне" на Лубянку.

Там меня завели в парикмахерскую, где стояли стол с зеркалом и кресло. Я была одна. Впервые за семь месяце я увидела себя в зеркале. Вид мой мне понравился: на очень похудевшем лице глаза сверкали решительно. Я подумала, что сейчас увижу мужа, и мне хотелось своим видом ободрить его.

Ждать пришлось довольно долго, часа два. Где-то часы пробили двенадцать. Мне принесли обед. Как все врезалось в память: я помню, что мне дали гороховый суп с кусочком мяса и гречневую кашу с мясом. Обед был не арестантский, наверное, из столовой. Не успела я доесть суп, за мной пришли. Меня ввели в зал заседания суда.

Кроме меня, обвиняемых не было. На местах для публики сидели следователи в форме. На возвышении стоял длинный стол, покрытый красным сукном.

Справа от этого стола стояла скамья подсудимых за барьером из светлого полированного дерева.

Я села на скамью. Сзади меня стояли два конвоира с винтовками и начальник тюрьмы Попов, худой, длинный человек с огромными, торчащими в разные стороны усами.

Прямо против скамьи висели круглые часы, стрелки на них показывали 12.45.

— Суд идет, встаньте!

Я вскочила. Вошли человек двенадцать судей. Председательствовал Ульрих. Я смотрела на этих мужчин мундирах и орденах. Большинство из них были пожилые люди, многие годились мне в отцы. Высокий человек с седой головой и в орденах начал читать обвинительное заключение. Я уже знала его наизусть, поэтому смотрела и думала: "Неужели

эти мужчины, большевики, к которым я привыкла относиться с таким уважением, неужели они к которым я доверчиво бросилась бы за защитой в любой опасности, неужели они не поймут, что я невиновна, и осудят меня?"

Председатель спросил, хочу ли я говорить. Я подалась вперед.

— Да, я хочу говорить!

Я произнесла отличную речь. Я говорила, что не нужно (и невозможно) доказывать невинность, а нужно доказывать вину, что обвинитель мой, по словам следователя, "троцкистский бандит", а я ничем не опороченный человек, почему же верят ему, а не мне? Муратов показал, что он наедине предложил мне убить Кагановича и я дала на это согласие!

Что я могла противопоставить этому дикому утверждению, кроме того, что я жила очень хорошо, была довольна своей жизнью, что мне незачем, немыслимо было вдруг ввязаться в такое преступление, тем более что я не могла ждать никаких выгод от перемены правительства, это меня совершенно не касалось! И что это за формулировка: "Слиозберг могла слышать разговор"? Могла слышать, но не слышала. Нельзя же убивать человека только за то, что он "мог слышать"! Кончила я тем, что попросила судей, когда они будут решать мою судьбу, вспомнить, что у меня двое маленьких детей.

Я произнесла отличную речь, но она мне не помогла. Был момент, когда мне показалось, что меня никто не слушает.

— Суд удаляется на совещание.

Судьи встали и вышли. Когда открылась дверь, я увидела в комнате накрытый стол, вазы с фруктами, стаканы. Часы пробили один час.

Через пять минут судьи вошли и председатель прочел:

— "...Осуждается на восемь лет тюремного заключения со строгой изоляцией и четыре года поражения прав". Меня как кипятком ошпарило. Я обернулась и увидела Попова в дурацкой позе, с открытыми, как для объятия, руками. (Потом я поняла, что женщины падали в обморок, а Попов их подхватывал.) Я не упала в обморок, я оттолкнула Попова и побежала по коридору. Кажется, я хотела убежать. Потом меня пронзила мысль — "тюремное заключение". Я даже не знала, что бывают такие приговоры. Я остановилась и обернулась к Попову, который шел за мной по пятам.

— Мне послышались слова "тюремное заключение". Что же, я буду восемь лет сидеть в тюрьме?

— Да, таков приговор.

— Ах, зачем я унизилась и сказала им про детей! — воскликнула я.

— Это вы хорошо сделали, у вас предполагалось поражение прав на пять лет, а снизили до четырех. (Потом я узнала, что у всех было поражение прав на пять лет.)

Меня ввели в большой зал, где уже было человек десять осужденных. Между ними я встретила Женю Гольдман и Женю Быховскую. Обе получили по десять тюрьмы. Женя Быховская — одиночного заключения без права переписки.

Все сидели молча, убитые. Никто не плакал. В этот день осудили около ста женщин. Суд заседал шестнадцать часов, в среднем на человека десять минут. Я со своей речью заняла пятнадцать минут. Значит, кого-то осудили за пять минут.

Соловки

После приговора нас ввели в большую камеру с наскоро сколоченными нарами (раньше здесь, вероятно, помещался клуб), и там мы пробыли два дня. Об этих двух днях помню только стоны, крики, просьбы дать свидания с детьми и родными.

От свидания с детьми я отказалась сразу же, я считала, что привести их сюда — значит, ранить на всю жизнь. В силах ли я видеть мать и отца, я еще не решила, начальство рассудило за нас: нам не дали никакого свидания, погрузили в поезд и повезли на Соловки. Мы ехали четыре дня. Рядом в купе ехал писатель Виленский-Сибиряков. Он был тяжело болен — язва желудка. В нашей 105-й камере сидела его жена, Марфа Митрофановна

Виленская. Я вспоминала всякие мелочи о ней и ему рассказывала. Он жадно слушал, это была последняя весточка от жены, с которой он прожил тридцать лет. Они вместе отбывали до революции ссылку в Сибири, потому он и взял себе псевдоним Сибиряков. Он умер потом на Соловках. Дочь его я встречала на Колыме.

По Белому морю нас везли на пароходе "СЛОН" (Соловецкий лагерь особого назначения). Все говорили, что это к счастью, но ведь всех заключенных возили на этом пароходе, а вряд ли их ожидало большое счастье! На Соловках не были готовы камеры, и временно нас поместили в большую камеру, бывшую трапезную. Печи там огромные, в полстены, очень теплые, полы добротные, из аршинных досок. Стены белены, диваны деревянные со спинками. Подали неплохой обед.

В комнату несколько раз заходил начальник тюрьмы Монахов — высокий, полный, с добродушным лицом.

Мы, видимо, его очень интересовали. В одно из посещений он сказал:

— Да что же вы натворили, что такие приговора? А потом в следующий раз вдруг сказал:

— Ну, сидеть вам по восемь да по десять лет, разбирайтесь по желанию по четыре, по пять человек.

Это было поразительно: никогда никто так не делал, наоборот, если люди дружили — их разъединяли. Все волновались: легко сказать, выбрать товарища на восемь лет.

Мне было ясно, с кем я не хочу быть: я очень боялась людей, которые плачут и стонут. Я не хотела сидеть с меньшевичками и троцкистками. Ближе всех мне была Женя Быховская, но с ней соединиться было нельзя, так как у нее по приговору была одиночка.

Женя сидела в углу и была уже отрешена ото всех, ей не о чем было говорить с нами, полными планов совместной жизни, ее ожидало одиночество. Сердце у меня зашло от острой жалости, но надо было устраивать свою жизнь. Я прошла мимо нее, не глядя, и подошла к Жене Гольцман.

Она сидела рядом с молодой красивой девушкой, которая прижималась к ней. Девушку эту я знала. Она была падчерицей профессора Д. Звали ее Лида.

Эту Лиду мы с Женей решили взять к себе в камеру. Мы очень жалели ее и, кроме того, хотели дать ей образование, так как она окончила только семилетку.

Четвертой к нам в камеру попросилась Зина Станицына, которую я знала по Лубянской тюрьме. С Зиной нас сблизило то, что ее посадил Муратов, товарищ моего мужа, который оговорил и нас.

Женя сказала, что у нее есть условие: мы не должны нарушать тюремных правил перестукиванием. Она коммунистка и, где бы ни была, будет подчиняться советским законам. Мы установили такой порядок: вставали в 8 часов и час делали гимнастику при открытом окне. Потом завтракали и садились за учебу. 2 часа в день Женя занималась с нами английским языком, 2 часа Зина учила нас математике. Час я занималась с Женей французским и час с Лидой русским, потом я читала французские книги, которых в библиотеке было 250 томов, и все очень хороши!

Лида была очень музыкальна и иногда напевала чистой и нежной колоратурой.

Женя читала Ленина и Маркса, Зина занималась векторным анализом, а Лида пыталась над уроками по математике, русскому и английскому. Женя строго следила, чтобы "Правда", которую мы получали, прочитывалась нами от начала до конца. Она ни за что не спускала мне, когда я просматривала газету, а не читала ее как следует.

Час в день мы гуляли на старом кладбище, заросшем травой и сиренью. Там между двух березок была одна плита, всегда навевавшая на меня грусть и раздумье: "Кошевой Запорожской Сечи, имярек (я забыла), родился тогда-то, в возрасте 75 лет за буйство был заточен в монастырь и прожил там до ста трех лет. Потом был освобожден, но, смирившись душой (в сто три года!) пожелал дожить свои дни в тишине и молитвах. Умер ста десяти лет".

Я читала надпись на могиле "смирившегося душе кошевого" и думала о том, что я

освобожусь в сорок один год, что потом я еще, наверное, буду жить и вспоминать эти восемь лет как эпизод моей долгой жизни. Но я никак не могла этому поверить.

В 8 часов мы снова раздевались и делали гимнастику при открытых окнах, потом пили чай, и дневная работа была окончена.

Мы никогда не лежали на постелях и не спали днем, чтобы утомиться и спать ночью.

Это был очень хороший режим, и, кажется, только наша камера ввела у себя такой. В остальных камерах много плакали, читали, лежа в кровати, много вспоминали прошлую жизнь. Потом, когда через года полтора нас соединили, мы от них резко отличались, как будто приехали с курорта.

Монахов частенько к нам заглядывал. Он, наверное, и в глазок смотрел, потому что, как-то зайдя, увидел, что мы по-английски читаем какую-то статью, и сказал:

— Здорово вы продвинулись! А я никак не одолею, три раза принимался.

Женя ему шутя сказала:

— Включайтесь в наш кружок, мы вас живо научим.

Он замахал руками:

— Нет уж, избавьте, к себе меня не включайте, лучше проживу без английского!

Но не долго он прожил, бедняга! В конце 1937 года его за либерализм в общении с "врагами народа" арестовали. Говорят, Монахов умер на пересылке во Владивостоке.

Он скрасил нам год жизни в тюрьме. Это был очень хороший человек.

Тяжелы были ночи. Устав, я засыпала как убитая, но в два часа просыпалась, как от укола в сердце. Больше спать я не могла, и часы до подъема были невероятно мучительны. Вставать, читать не разрешали, вертеться было нельзя, очень чутко спала Женя, жалко было ее будить. Я лежала тихо, с закрытыми глазами и училась не вспоминать. Малейшее ослабление воли, и всплывают лица детей, мужа, матери. Нельзя, нельзя, а то начнешь кричать.

В эти ночи я узнала, что можно управлять мыслями: одни пускать, другие гнать. Можно не вспоминать, не жалеть, не терзаться чувством вины перед собой, перед мужем, перед матерью за то, что не доделала что-то, кого-то обидела, мало любила, мало жалела. Можно... Но очень трудно.

После такой ночи я вставала, как избитая, и входила в норму только после часа гимнастики перед открытым окном.

Один раз к нам пришел фельдшер давать лекарство. Сзади, как всегда, стоял конвоир (фельдшер был заключенный). Вливая Лиде в глаза капли, он прошептал:

— Умер Сергей Луковецкий, просил передать на волю: невиновен. Умираю коммунистом.

В другой раз он шепнул:

— Умерла Соня Ашкенази. Утром нашли.

Я вспомнила ее прекрасные глаза и то, как она меня поцеловала перед судом. Умерла.

Так мы прожили целый год. А осенью 1937 года вдруг перестали давать книги из библиотеки. Мы жили без книг месяцы, и, наконец, нам дали новый каталог, где учебники были в объеме средней школы, иностранных и научных книг вообще не было. Каталог художественной литературы занимал пять страничек на машинке. Разрешалось брать по одной книге на неделю. Это был ужасный удар. Мы плакали, как будто получили дополнительный срок. Мы гадали, почему так сделали, и Женя предположила, что через книги заключенные переписывались, сами виноваты.

Особенно тяжело было, когда в уборной нам давали нарезанные страницы из наших любимых книг. Как-то я получила пол-странички Гейне, в другой раз кусочек из "Казаков" Толстого.

Тогда же нам перестали давать газеты. В эти дни я впервые поссорилась с Женей.

К нам в камеру вошел Виноградов, наш корпусной. Это был комсомолец, не слишком умный парень, но мы его любили. Видно, он хотел подражать Монахову, потому что пытался нас воспитывать: бывало, пожалуемся, что холодно, он отвечает: "Натопят. Советская

тюрьма не наказывает, а воспитывает". Или придет к нам в камеру и сделает что-то вроде политинформации про стахановцев, а закончит укоризненно: "Видите, как народ работает, а вы вот натворили и сидите".

Последнее время Монахова не было видно, а Виноградов к нам не заходил уже два месяца. Сегодня вошел — как будто его подменили.

— Встать! Мы встали.

— Претензии есть?

— Нет.

Он повернулся уходить. Тогда я его спросила, почему нам не дают газет.

— Таково распоряжение.

— Вы сами говорили — советская тюрьма воспитывает, а как же воспитывать без газет?

Он замаялся. И вдруг ему на помощь пришла Женя. Лекторским тоном она сказала:

— Воспитывают политически неграмотных, а такие как мы, должны отвечать за свои поступки! Виноградов обрадовался и закивал головой:

— Точно, точно!

И шмыгнул в дверь от дальнейшей дискуссии.

Я налетела на Женю:

— Как ты смеешь вмешиваться, когда я спрашиваю корпусного?

Она была немного смущена:

— Ну, ты видишь, что он не знает, как ответить. Появилось свободное время. Мы слепили из хлеба шахматы и стали играть. Три дня увлекались шахматами, на четвертый вошел Виноградов, сгреб шахматы и сказал:

— Запрещается.

— Ну, а это почему? — спросила я Женю. — Просто чтобы мучить.

— Прошу тебя не говорить фраз, граничащих с клеветой. Значит, кто-то в шахматы заклеивал политические документы.

Я махнула рукой и больше не стала говорить, уж очень ей трудно было подыскивать оправдание.

Два дня нас не водили гулять, а когда мы вышли на прогулку — ахнули. Наше милое кладбище было разделено на загончики с высокими стенами. Ни одной травинки, ни кустика не было на земле. Две березки были срублены. Плита с надписью осталась и сиротливо лежала посреди двора.

Однажды, когда мы в тюремных длинных трусах самодельных лифчиках делали гимнастику, открылась дверь и вошла целая комиссия. Вид у нас был жалкий: серо-белые бязевые трусы до колен, лифчики из портянок. При открытом окне, и еще открыли дверь, стало очень холодно, и мы стояли, синие от холода, на сквозняке.

Впереди шел полковник в серой каракулевой шапке и полушубке с таким же воротником. У полковника было розовое лицо, пахло от него парикмахерской и вином. Сзади человека четыре военных, а позади всех наш Виноградов.

— Что это такое? — спросил полковник Виноградова, брезгливо указывая на нас. — Что это такое? Я вас спрашиваю. Это дом отдыха или тюрьма? В домах отдыха занимаются спортом, а в тюрьмах отбывают наказание. Безобразие! Немедленно прекратить!

Мы сделали движение, чтобы одеться.

— Стоять! Почему не по правилам заправлены койки? Почему открыто окно? Это не спортзал, а камера!

На столе лежала книга — воспоминания Елизаровой о Ленине.

Я вдруг сказала:

— А Ленин сидел в царской тюрьме и два часа в день занимался гимнастикой. Это ведь тоже была тюрьма. Полковник крикнул:

— Молчать! — повернулся и вышел. Все ушли. Дверь заперли. Через пять минут вернулся Виноградов, сказал:

— Гимнастикой заниматься запрещается. — Взял воспоминания Елизаровой и ушел. Как-то в библиотеке дали книгу Барбюса "Сталин". Там был большой портрет Сталина. Лида почему-то стала восхищаться его лицом.

— А вам он нравится? — спросила она меня. Накопившаяся злоба прорвалась:

— Нет, я не люблю лиц с маленькими лбами. Женя вскинулась:

— Я считаю это политическим выступлением!

— Не люблю людей с маленькими лбами, не люблю brunetов, обожаю блондинов, синеглазых блондинов, большелобых, синеглазых блондинов, хоть ты меня убей!

Женя отвернулась и перестала со мной разговаривать. В камере стало так тяжело, что я обрадовалась, когда через неделю Виноградов велел мне собираться с вещами.

Я попрощалась со всеми. Женя подошла, поцеловала меня и сказала:

— Я думаю, ты едешь на пересмотр дела. У тебя ведь такой пустяк! Желаю счастья!

Ох, какой она была оптимист.

Я вышла.

Меня ввели в камеру, где сидели четыре женщины. Познакомившись, я узнала, что все они имели приговоры по статье 58–10 по три года, до сих пор были в лагере, теперь сроки их окончились. Когда их взяли из лагеря в тюрьму, они были уверены, что их отправляют на материк для освобождения.

Задержка их очень волновала. Утешали себя тем, что закрыта навигация.

Потом они спросили обо мне и с ужасом узнали, что я террористка и приговорена к восьми годам тюремного заключения.

Когда я попыталась им объяснить, что теперь все либо террористы, либо шпионы и имеют сроки по восемь, десять лет, они явно мне не поверили. Ведь три года назад, чтобы получить такой срок, надо было что-то сделать.

Этот разговор был в первый вечер моего прихода, а на завтра я заметила, что все они смущены, шепчутся между собой и что-то хотят мне сказать. Наконец, Нема Рабинович, старшая из них, сказала мне:

— У нас уже позади наше наказание, мы готовимся начать новую жизнь. У нас дела были мелкие, случайные, у вас совсем другое. Я думаю, что вы не обидитесь на нас, если те недолгие дни, что мы пробудем здесь, не будем с вами общаться.

Вот так номер! Уж этого я никак не ожидала.

И мы начали жить в небольшой камере — метров пятнадцати — впятером, причем я сидела в одном углу, а они все четверо в другом. Мне кажется, им было еще хуже, чем мне, ужасно стыдно. Но я им мучительно завидовала. Они говорили друг с другом, иногда смеялись, играли в какие-то загадки, все вместе ели.

Я сидела одна. Ни книг, ни бумаги у меня не было, и единственное, что я могла делать, — это сочинять в уме стихи да курить папиросу за папиросой. Так прошло пять дней. Наконец, мне принесли книгу. (Им принесли четыре книги, и они могли меняться.) Я читала свою книгу порционно, по тридцать страниц в день, а тридцать страниц — это для меня на один зуб, и с завистью поглядывала, как у них лежат книги, а они не читают, предпочитая обсуждать свою будущую судьбу.

Прошло еще три дня. И вдруг вошел корпусной вызвал Нему Рабинович без вещей! Значит, решили все, на освобождение. Прошло минут пятнадцать. Вошел корпусной, вызвал без вещей Машу Яровую, а Нема появилась в дверях бледная как полотно. Маша вышла. Нема еще не произнесла ни слова. Потом сказала:

— Прибавили срок до десяти лет. Еще отбывать семь лет.

Села на койку и начала курить папиросу за папиросой. Открылась дверь, и с рыданиями вбежала Маша и бросилась на постель:

— Довесили семерку, это Бог нас наказал за бедную Ольгу. У меня все восемь дней сердце разрывалось, на нее глядя! Довесили, довели. Семь, семь, семь лет!

Две остальные вышли и вошли обратно с плачем криками. Было тяжело смотреть, как жизнь разбила все их планы и мечты. Нема и Маша рвались к детям, оставленным у чужих

людей, Нюра Иванова собиралась соединиться с одним лагерником из уголовных, кончавшим срок весной. Она хотела его ждать, строила планы, как будет до весны его поддерживать, посылать ему посылки.

Шуру Алексееву ждала мать, которая еле дожидала до окончания срока своей единственной дочери. Она ей писала каждую неделю: "Вот осталось двенадцать недель." "одиннадцать, вот десять, жду, жду, жду". Прошло несколько часов, принесли кипяток. У меня были какие-то леденцы. Я пошла на их половину. — Давайте мириться! Угощаю. — Я положила на стол леденцы. — Я не сержусь на вас, откуда вы могли знать.

Но теперь, пожалуй, мне с вами опасно: у меня восемь лет, а у вас по десять.

Человек живуч! Вечером мы сидели все впятером, сидели на постели у Маши Яровой и я рассказывала им французский роман "На дне пропасти" Жоржа Онне. Это был один из самых душераздирающих романов, которые я брала для практики во французском языке из тюремной библиотеки. Эти романы сослужили мне хорошую службу: я их выдавала с вариациями, и прослыла в тюрьме и лагере отличным рассказчиком.

Весной 1938 года к нам в камеру привели двух женщин, которые, заболев, отстали от своего этапа. От них я узнала, что женская тюрьма на Соловках ликвидируется, и заключенных перевозят на материк. То же ожидало и нас.

Я мысленно оглядела полтора года, прожитые на Соловках.

Дни как-то проходили в занятиях математикой, языками, чтении книг, разговорах. Но ночи!

Беспокойная белая ночь.
Тени башен на окна нависли.
Я устала в мозгу ворочать,
Точно камни, тяжелые мысли...
Только вспомнишь о дальнем мире,
Точно жало до сердца дотронется.
Меж камней осторожно лавируя,
Я себя вывожу из бессонницы.
Это значит, что, стиснув зубы,
Я решила терпеть и ждать.
Чайки стонут крикливо и грубо,
Ночь проходит — надо спать.

В нашу камеру на Соловках вошла бледная худенькая девушка.

— Я из карцера, — сказала она. — Меня зовут Аня Бублик.

Около меня была свободная койка. Аня легла на нее и очень скоро заснула. Она сильно кашляла. Видно, была так замучена, что не просыпалась до вечера. Вечером к ней зашел врач Востоков. Он был, как и мы, заключенный и относился к нам внимательно, сочувственно. К сожалению, он недолго у нас пробыл, вскоре его заменили вольнонаемным чиновником. Востоков послушал Аню и спросил:

— Туберкулезом болела?

— В детстве, потом выздоровела.

Он дал ей какие-то порошки, а мне сказал:

— Очень близко не дышите.

И мы поняли, что у нее чахотка. Аня тоже поняла. Из десяти обитателей нашей камеры большинство боялись с ней говорить, боялись заразиться, а я не боялась. Так тошно было мне в это время, что хотелось умереть. Да и как было оставить эту девочку одну в такое страшное для нее время? Мы целыми днями говорили с Аней, она рассказала мне свою историю.

Родилась она в Харбине, где отец ее работал на железной дороге. Когда дорогу передали китайцам, служащим предложили на выбор: либо принять китайское подданство и

остаться работать на КВЖД, либо уехать в СССР и сохранить подданство советское. Родители Ани остались в Харбине, а она, горячая комсомолка, мечтала уехать в Россию. Мать на коленях умоляла ее остаться, многие пугали тяжелыми условиями жизни в СССР, но Аня была непреклонна. Она приехала в Москву и поступила в институт иностранных языков (английский язык она знала с детства). Жила она в общежитии и была в восторге от Москвы, от вуза.

Но через три месяца ее арестовали по подозрению в шпионаже, была такая удивительная статья "П.Ш.". С 10 годами срока она была прислана на Соловки. Потом на Колыме я встречала многих, прежде работавших на КВЖД, с этой статьей. Возмущению ее не было предела. По-своему она боролась: демонстративно не вставала, когда входило начальство, говорила громко, без разрешения открывала форточку. Естественно, попала в карцер. А условия в карцере были такие: во-первых, надо было догола раздеться и надеть грязный тюремный халат. Камера без окна. Питание — 400 г хлеба в день и две кружки горячей воды. Топчан вносят на 6 часов, остальное время надо стоять или ходить по двухметровой камере, или сидеть на залитом водой полу. Карцер давали на срок 4–5 и до 20 дней. Должно быть, сильно она обозлила начальника тюрьмы, что он дал этой бедной девочке 20 дней. Впервые в моей тюремной жизни я столкнулась с таким сроком. Обычно и после пяти дней выходили больными.

Аня прожила у нас в камере месяц. Ей делалось все хуже, и в одну печальную ночь у нее началось горловое кровотечение. Аню забрали в больницу. Умерла она через два дня. Ей был 21 год.

Как ни странно, я не заразилась.

Казанская тюрьма

В Казанской тюрьме режим был рассчитан на полное подавление физических и душевных сил.

Вставали по звонку в шесть часов утра. Пять минут седьмого врывался в камеру дежурный, чтобы поднять и подвинтить к стене наши койки. Если койки не были еще заправлены, он кричал, грозил всех посадить в карцер, и мы его ужасно боялись, торопились, причем было ясно, что он приходил так скоро после звонка, чтобы кричать на нас, грозить, дать тон всему дню.

Семь минут седьмого. Койки подвинчены к стене, и мы, шесть женщин, оказываемся в пустой камере с каменным полом, каменными сводчатыми стенами, двадцатисвечевой лампочкой у потолка (и где только брали эти лампочки, которые светились красным накалом, оставляя всю камеру в темноте).

Окно забрано снаружи щитом, а сверху плотная сетка. Неба не видно. Мебель составляли шесть скамеечек, по сорок сантиметров длиной, привинченных к стенам, столик, привинченный к стене, полметра длиной и тридцать сантиметров шириной, и параша в углу.

Ходить по камере было трудно, потому что нам давали грубые мужские ботинки № 44 и, если они стучали о каменный пол, тотчас голос дежурного шипел:

— В карцер захотели? Не шуметь! Говорить следовало только шепотом; за слово, произнесенное вполголоса, можно было попасть в карцер.

Начиналось течение бесконечного тюремного дня. День разбит на отрезки: оправка, завтрак, обед, ужин, пятнадцатиминутная прогулка, вечерняя оправка, сон.

Каждого перерыва этой убивающей монотонности ждешь, ждешь.

Нам не давали ни иголок, ни ниток, не разрешалось никаких игр. За вылепленные из хлеба шахматы можно было попасть в карцер на неделю. Раз в неделю нам давали по одной книге. Теперь я не представляю, как можно было читать в такой полутьме. Одна из нас, Катя Тойве, даже ослепла.

Книги были единственным отвлечением, единственным счастьем, воздухом, хлебом и водой для мозга, задыхающегося, погибающего без пищи. Читая, я вновь чувствовала себя

человеком. Ведь нам так долго и упорно вколачивали в головы, что мы не люди, а отбросы, вколачивали не только тюремщики, которых мы презирали, но и газеты, которым мы не отучились верить, люди, руководившие партией, страной, и мы сами начинали чувствовать себя в чем-то виноватыми.

А тут Толстой, Достоевский говорят со мной, и я чувствую себя равной им в своей человеческой сущности. Я всей душой понимаю их, как они, наверное, хотели быть понятыми людьми.

Как обидно было, когда дадут книгу, которая должна служить мне пищей две недели, а книга эта окажется подделкой, набором фраз.

Я помню, как получила один роман. Автор — неплохой советский писатель, не хочу его обижать, но роман он написал отвратительный. Как ни старалась, я не могла прочесть эту книгу. Было невероятно обидно: лежит толстая книга, а читать ее невозможно! Я буквально плакала. Я мечтала, чтобы автора посадили на десять лет в тюрьму и давали ему читать такие книги. Я повторяла, как гимназистка:

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Существовало не отмененное с добрых старых времен правило, что политическим должны давать учебники. Но нам давали буквари и арифметику, должно быть, в насмешку. Наши дипломы очень раздражали начальника тюрьмы.

Сидишь на своем сорокасантиметровом стульчике, привинченном к стене, и думаешь, думаешь. Очень трудно найти тему для мыслей, тему, которая не разрывала бы сердце.

Мечтать? Но о чем? Срок — восемь лет — кажется бесконечным. Пересмотр приговора может быть только в связи с общими политическими переменами. Но так велика была сила гипноза, что даже в этом склепе, наедине с собой, я очень долго не могла мечтать, например, о том, чтобы умер Сталин или его свергли. Это казалось гибелью, возвратом к капитализму.

Только в глубине мозга, в самой глубине, где бродят мысли, не сформированные в слова, рождалось чувство протеста.

Если "он" непогрешим и гениален, значит, мне и сотням тысяч людей так и полагается сидеть в этих гнусных камерах, тысячам людей вместо человеческого труда полагается целыми днями подглядывать в глазки и следить, чтобы мы не отвлекались хоть на минуту от давящего нас горя, и за это подлое занятие получать ордена и чувствовать себя людьми, делающими государственное дело, ведущее страну к коммунизму.

Вспоминать? Нельзя. Сойдешь с ума. Гонишь всякую тень воспоминаний, стараешься сразу переключить мозг на механическую работу: считаешь, вспоминаешь стихи, составляешь из букв большого слова другие слова. Но иногда воспоминания овладевали душой, и воля сдавала. Ох, как становилось тяжело.

Стены Казанской тюрьмы полутораметровые, но все-таки там мы слышали пароходные гудки. А ведь я волжанка! Такой гудок переворачивал душу: я сразу представляла себе Волгу, ее ширь, пароходы, молодость.

Стараешься не слышать, не верить, что вот сейчас, когда я сижу в этом каменном погребе, жизнь идет почти так, как прежде.

Не может быть, чтоб в этот час
Шумел зеленый лес и шелестело поле!
Чтобы на Волге в радостном приволье
Переливался голубой атлас...
Не может быть...
Решетка на окне

Да дверь с глазком —
Вот где границы мира.
Сердца людей запуганы и сиры...
Я умираю, не могу вздохнуть...
О Боже, как тяжел мой путь.

К счастью, вспоминала я о воле, о жизни все реже и реже.

Чувство самосохранения заставляло не думать, не терзаться. Старалась создать какой-то свой, призрачный, тюремный быт.

Зина Станицына, моя сокамерница по Соловкам, попала и здесь со мной в одну камеру. Она учила всех алгебре, геометрии, составляла задачи — время как-то проходило.

Я рассказывала шепотом французские романы. Тяжелее всех было Ольге Ивановне Никитиной, старухе ткачихе. Она проработала у станка тридцать пять лет и, как все ткачихи, была глуховата. Шепота она не слышала, а говорить вполголоса не разрешали. Глаза у нее были плохие, и в тюремной темноте она не могла читать. Была она старым членом партии, из тех ивановских ткачих, что воевали на фронтах гражданской войны с Фурмановым. Получила десять лет заключения за то, что выступила на собрании и спросила со свойственной ей грубой прямоотой:

"Говорите, все предатели. Что же Ленин-то совсем без глаз был, не видел людей, которые вокруг него жили?"

И вот сидела она и по целым дням шептала про себя — все доказывала, что она правильно сказала.

У Ольги Ивановны осталась дочь на воле, пятнадцатилетняя Ната. Эта дурочка не знала, что в тюрьме письма проходят цензуру. Она писала матери, что хочет вступить в комсомол и попасть на учебу. Для того чтобы ее взяли, она скрывала, что мать в тюрьме. "Пишу везде, что ты умерла, а то нигде не примут. Если "их" не обманывать, никак нельзя мне прожить".

Мать, не имея возможности сказать ей, что письма проходят цензуру, писала:

"Ты должна быть честной, как мать твоя всегда была честной перед родиной, должна всегда писать правду".

А Ната ей отвечала: "Вот ты всегда была честной, тебя и посадили, а кто хитрил, тот живет себе да поживает на воле". Так она ничего и не поняла и продолжала писать письма, которые заставляли сердце бедной Ольги Ивановны разрываться от страха за дочь.

Тяжело было все, что напоминало волю. Один раз я заметила, что дежурный нес домой сверток с детскими игрушками. Мне показалось невероятным: он через полчаса увидит своих детей! Сердце разрывалось.

Время от времени, примерно раз в десять дней, к нам в камеру врываются человек пять женщин из надзора, раздевали нас донага и производили обыск. Обыск был невероятно унизителен: искали в волосах, во рту и даже хуже. Грязными руками ощупывали тело. Бросали на грязный пол белье, а на наши жалобы начальник тюрьмы отвечал: "Снявши голову, по волосам не плачут".

Что можно было найти? Клочок письма, не сданного назавтра после получения согласно тюремным правилам; припрятанную фотографию матери или ребенка; сделанную из хлеба фигурку — все это считалось преступлением, и за все полагались самые тяжелые репрессии: лишение книг, лишение прогулок, лишение переписки, карцер, одиночка. Конечно, администрация тюрьмы знала, что у нас ничего не может быть криминального, обыски делались исключительно для запугивания и унижения.

И вот сидели мы, шесть запуганных, оступевших женщин, на своих стульчиках, а время текло медленно и давило сердце, как камень. Под конец мы впадали в апатию, и нам уже не хотелось никаких происшествий, которые вывели бы нас из этого состояния.

Я живу как во сне.

Вкруг меня и во мне
Этот тусклый, рассеянный свет без теней.
Много дней, много дней, много дней.
Слышу шум за стеной осторожных шагов,
Да задушенный шепот глухих голосов,
Да еще иногда громыханье замка,
Да шуршанье проклятых волчков.
Я живу, как во сне,
И мерещится мне,
Что лежу я на илистом дне
Под холодной, тяжелой, зеленой водой.
И плывут корабли надо мной,
Высоко наверху волны бьют в берега,
Летом солнце палит, а зимою снега,
Ветер ярко кружит по волне...
Но царит тишина в глубине,
Высоко наверху моя бедная мать
Не устанет меня громким голосом звать,
Громкий голос доходит до самого дна,
Где в бессилье лежу я одна.
Мама, дочку свою не зови, не томи,
Мама, бедное сердце уйми!
Не могу я проснуться, здесь нечем дышать,
Не терзай себя, бедная мать!
Я живу, как во сне,
Вкруг меня и во мне
Этот тусклый, рассеянный свет без теней
Много дней, много дней, много дней...

Из этой тяжелой летаргии меня вывел один случай:

Мария Даниэлян, моя соседка по камере, прожила интересную, полную событий жизнь. Она много рассказывала мне о бакинском подполье, где она работала в первые годы революции. Я завидовала тому, что она жила полной жизнью, пока я прозябала в обывательских заботах. Я смотрела на Марию снизу вверх, и, хотя мы из боязни быть услышанными никогда не говорили о катастрофе тридцатых годов, я очень хотела знать, как она объясняет ее, как увязывает то, что никак не могла увязать я. Кстати, Мария по профессии была историком.

Однажды Мария сказала:

— Если я когда-нибудь выйду отсюда, я начну жить, как будто ничего не произошло. Никогда никому не расскажу о том, что пережила, и сама забуду все.

Я возмущилась:

— Так говорить может только лицемер. Мы ведь не могли представить себе, что существует эта темная изнанка нашей жизни, но она была. Она была еще тогда, когда мы гуляли на воле и верили в справедливость. Уже тогда были эти страшные допросы, эти подвалы внутренней тюрьмы, где людей избивали, заставляли подписывать ложь. Как я смогу забыть об этом, если это будет и тогда, когда я случайно освобожусь? Я не хочу забыть, я хочу понять. Если факты не лезут в мое представление о мире, надо менять его, так как факты отменить нельзя. Надо менять жизнь, чтобы этих фактов не было.

Распространяться на эту тему было опасно. Мария перестала со мной разговаривать, и заявила, что я скатываюсь в оппозицию. А я поняла, что она, не желая скатываться, вообще запретила себе думать.

Она без конца писала письма Сталину, где заверяла, что никогда не критиковала

решений и действий партии.

А я не хотела не думать.

Глубокое отвращение к этому добровольному рабству, рабству мысли охватило меня. Я буду думать, я буду запоминать все. Я должна выжить и донести все, что видела, до людей. Я не могу сейчас всего понять, но я вижу, что творится злое дело.

Я буду свидетельствовать.

Это решение, созревшее во мне, наполнило новым содержанием мою жизнь. Я стала вникать в каждую услышанную повесть, запоминать все, что вижу вокруг.

Жизнь моя обрела смысл.

Лиза

Была суббота, день писания писем. Накануне мы получили от родных такие нужные, такие теплые, такие трафаретные письма. Что писать нам каждые две недели в тюрьму, где письма проходят десять цензур? Все здоровы, дети умники, красавцы, будь мужественна, береги свое здоровье, ты нужна. И хоть я знаю, что мне не напишут, если дети больны, не напишут, что мать не спит по ночам и горе убивает ее, я успокаиваюсь, выпитываю каждую черточку милого, неумелого маминого почерка, целую печатные буквы сына и обведенную ручку дочери, которая делается все больше и больше и сейчас уже величиной с мою ладонь, а была крошечной. Эти письма живут с нами одну ночь, на завтра я должна их вернуть. Отнимут у меня и карточки, и нужно их запечатлеть в сердце. На карточке мама, папа и дети. Девочка острижена наголо. А сейчас зима. Значит, она была больна, может быть, скарлатиной, может быть, дифтеритом. Я ничего не знаю, но знаю, что неделю назад она была жива и ее ручку обвели чернилами, и я целую отпечаток ее ручки. Я счастливица, я каждые две недели получаю письма — это сгустки любви и тепла, которые греют сердце и вливают в него волю к жизни.

А Лиза, моя соседка по камере, не получает писем уже два месяца. У нее остались на воле две девочки, шести и двенадцати лет. Старшая девочка, Зоя, аккуратно писала ей, сообщая, что младшая, Ляля, не слушается и порвала новое платье, что теперь она заплетает косички и они уже длинные, 20 см. Она прислала карточку: две беленькие девочки, гладко причесанные на косой пробор. У старшей действительно косички, но вряд ли они достигают 20 см, они совсем маленькие и смешные. Она явно старается их показать. Должно быть, это предмет ее гордости. Лиза удивительным образом прячет эту карточку от обысков, и она уже живет у нее два месяца, со дня получения последнего письма. Это большое преступление, за него можно попасть в карцер, и Лиза изволновалась и решила, что сдаст эту карточку, а то от волнения можно получить порок сердца.

Лиза вообще больше всех нас мнительна и боится за свое здоровье. Это крепкая, довольно некрасивая женщина. Она рассказывает, что хорошо поет, но мы, к сожалению, не можем это проверить, ведь говорить разрешается только шепотом, а петь совсем нельзя. Лиза любит рассказывать о том, каким пользовалась большим успехом у мужчин, а я этому никак не могу поверить, глядя на ее некрасивое лицо и сильную, грубо сколоченную фигуру. Вообще с Лизой я не очень сошлась, она не любит философствовать, говорит больше о еде, о платьях, которые у нее были, о мебели, которую она оставила в квартире. Она человек неинтеллигентный, и ее раздражает наше переливание из пустого в порожнее в поисках первопричин.

Но вчера, после того, как мы все получили письма, а она опять осталась без письма, она долго плакала и ночью шепотом рассказала свою историю.

— Вы все из хорошей жизни, а я в детстве плохо жила. Мы были нищие. Отца не было, никогда не было, мать нас с сестрой прижила от хозяина. (Лиза стыдилась этого и никогда не рассказывала раньше. Я поняла, почему она так не любила наши рассказы о детстве, о том, как нас учили музыке, какие елки нам устраивали, как меня баловал отец.) И у матери, и у нас с сестрой были хорошие голоса, и мы пели по дворам, и нам подавали много. Мы бы

хорошо жили, но мать пила. А голос у нее был, как у Неждановой, выпьет, бывало, и поет, и плачет. Хорошо пела и была добрая, а пила от горя. Я всегда завидовала детям, которых мать провожала в школу, а если видела детей с отцом, нарядных, беленьких, мне хотелось запустить в них комом грязи.

Мы жили в углу в подвале. И вдруг, когда мне было 14 лет, сделалась революция. К нам пришли люди и сказали, что нас переселяют из подвала в квартиру на втором этаже. Там жили буржуи, они все бросили и убежали за границу, а нам дали их квартиру со всей обстановкой, со всеми вещами. Там был рояль, были платья, посуда. Мама нарядилась, нас нарядила. Нам дали три комнаты. Мы жили в одной, потому что было холодно, но другие комнаты берегли, вытирали пыль. А потом стало тепло, и мы стали жить во всей квартире. Мать работала комендантом этого дома, а мы с сестрой на фабрике. Мы как в рай попали. На фабрике нас все любили, потому что мы всегда пели — и за работой, и на вечерах. Мы одевались очень хорошо, потому что у буржуев осталась швейная машинка и много платьев, и мать все шила и переделывала платья. Она и пить бросила.

Только, бывало, по вечерам соберутся к нам товарищи, как в клуб, покушаем, что есть (мать кухаркой у чиновника жила, она хорошо готовила), выпьем по рюмочке и поем, поем. Потом мать умерла, у нее была чахотка. Ну, хоть последние годы пожила в радости. А мы с сестрой вышли замуж. Я за председателя фабкома нашей фабрики, а она за мастера. Они были партийные, и мы стали партийные. Мы жили очень хорошо. Самое большое горе было, когда умер Ильич. Я и в партию вступила в ленинский набор. Муж меня заставлял учиться, как Ленин велел. Две дочки у меня были. Я их одевала, как куколок. Старшую уже начали учить на рояле, она хорошо успевала и тоже любила петь. У нее голосок тоненький и чистый, как колокольчик. Бывало, на детском утреннике у нас на фабрике дочка в шелковом платье с пионерским галстуком поет, а муж мне говорит: "Лучше нашей Зойки ни одной девочки нет, она народная артистка будет". А я вспоминала, как по дворам ходила и завидовала детям, у которых отец есть, и так любила нашу советскую власть, что жизнь бы отдала за нее.

У нас в Ленинграде вождь был тогда Зиновьев; я его любила, и муж очень уважал. Мы за него голосовали. А потом сказали, что он изменил Ленину. Было больно и непонятно. А потом был Киров. Я Кирова тоже любила, он к нам на фабрику приезжал, — я вечер устраивала и пела. А потом нас арестовали. Говорят, муж был зиновьевец, за него голосовал. И я голосовала. Я считала, что он за Ленина. Если бы я знала, что он Ленину изменил, я бы его своими руками задушила.

Лиза проплакала всю ночь. Она мне в первый раз все рассказала, и мне стало стыдно, что я считала ее грубой и глупой за то, что она все про квартиру и мебель вспоминала.

А после обеда нам дали бумагу, чтобы писать письма. Лиза тоже писала, все советовала дочерям беречь свое здоровье, хорошо учиться.

Вдруг открылось окошко, и Лизе подали письмо. Оно было не совсем обычного содержания.

"Дорогая мама, — писала Зоя. — Мне пятнадцать лет, и я собираюсь вступить в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как ты могла предать нашу советскую власть? Ведь нам было так хорошо, ведь ты и папа — рабочие. Я помню, мы очень хорошо жили. Ты мне шила шелковые платья, покупала конфеты. Неужели ты у "них" брала деньги? Лучше бы мы ходили в ситцевых платьях.

А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсомол, я никогда за тебя не прощу. А если ты виновата, то я больше тебе не буду писать, потому что я люблю нашу власть и врагов буду ненавидеть и тебя буду ненавидеть. Мама, ты мне напиши правду, я лучше хочу, чтобы ты была не виновата и я в комсомол не вступлю. Твоя несчастная дочь Зоя". Лиза замерла.

Из четырех страничек, что нам давали для письма, три у нее уже были исписаны. Она сидела, как каменная. Потом на четвертой страничке написала крупными буквами:

"ЗОЯ, ТЫ ПРАВА. Я ВИНОВАТА. ВСТУПАЙ В КОМСОМОЛ. ЭТО В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я ТЕБЕ ПИШУ. БУДЬ СЧАСТЛИВА ТЫ И ЛЯЛЯ. МАТЬ".

Она протянула мне письмо Зои, свой ответ и стукнулась головой о стол, задыхаясь в рыданиях.

— Лучше пусть меня ненавидят... Как жить она будет без комсомола, чужой, советскую власть ненавидеть будет. Лучше пусть меня.

Она отослала письмо, сдала карточку и больше никогда не говорила о дочерях и никогда не получала писем. Бедная Лиза!

Суздаль

После десятимесячного пребывания в Казанской тюрьме все мы, и я в частности, превратились в полукалек, забитых, погибающих от цинги и душевной депрессии. У меня непрерывно болела голова. Редко, редко я просыпалась без головной боли, но и в эти счастливые дни я недолго сохраняла ясность головы: достаточно было неожиданно открывшейся двери или упавшей на пол книги, чтобы вызвать у меня приступ мигрени. Все остальные были не в лучшем состоянии.

Между тем Колыме нужны были рабочие руки и было уже решено о переводе нас на работу в лагерь. Было ясно, что мы не работники, и решили перед переводом в лагерь дать нам отдохнуть в несколько лучших условиях.

Всего этого мы не знали, и поэтому, когда нас 10 мая 1939 года посадили в машины и повезли к поезду, волновались мы отчаянно. Перемена ритма жизни, встреча с соседями по камерам, встреча со старыми знакомыми — все это для меня оказалось непосильной нагрузкой.

Я лежала на лавке купе с безумной головной болью и непрерывной рвотой, возникавшей при малейшем движении.

Вокруг все непрерывно возбужденно говорили, старались рассказать о пережитом за год.

Как в тумане, я увидела возле себя Женю Гольцман. Она меняла мне на голове мокрые тряпки. Я взяла ее за руку и пожалала. Она мне ответила. Так мы помирились. Женя сидела около меня всю ночь, и когда бы я ни открывала глаза, я встречала ее нежный взгляд и чувствовала на горящем лбу прикосновение ее прохладной руки. Потом мы долго стояли где-то в тупике, а я все лежала неподвижно, раздираемая болью.

На следующий день мы приехали во Владимирскую тюрьму. Там я тоже ничего не видела и не чувствовала, кроме рвущей меня боли. Я была в полубреду, и воспоминания об этом путешествии всплывают отрывками. Я помню себя в открытом грузовике, на котором нас везли в Суздаль. До сих пор я не понимаю, почему нас везли среди бела дня в открытом грузовике по людным улицам Владимира, а не так, как других, словно груз, накрытых брезентом. И самое удивительное, что посередине большой, оживленной улицы наш грузовик сломался — лопнула шина. Пока шофер менял шину, толпа людей с ужасом смотрела на нас. Я помню лицо старика еврея: он поднял обе руки и громко молился по-еврейски, а по его щекам, по седой бороде непрерывно лились слезы. Наверное, кто-нибудь у него был в тюрьме. Увидев его искаженное от ужаса лицо, я оглянулась на своих соседок. Действительно, мы представляли из себя страшное зрелище: тюремная форма, коричневая с серыми полосами, тусклые глаза, испуганные зелено-бледные лица... А вокруг суетящаяся, испуганная охрана, разгоняющая толпу.

Грузовик исправили, и мы поехали дальше. Приехали в Суздаль. Деревянные дома, церкви сразу поразили нас. Было странно идти по не асфальтированным улицам, странно, что полы в приемной не каменные, а деревянные, чисто вымытые. Пахло печеным хлебом, навозом, сеном и еще чем-то хорошим.

Но самое удивительное нас ожидало по дороге в баню, куда нас повели сразу по приезде. Баня стояла в цветущем вишневом саду!

Вспомните, что мы три года не видели деревьев, неба, луны, дождя! На прогулки нас водили в огороженные тюремные асфальтированные дворы. Гуляя, мы обязаны были

смотреть в землю. Везде и всегда мы были погружены в отвратительный тюремный запах — дезинфекции, параши, сапог, махорки, грязного больного тела. И вдруг мы попали в цветущий вишневый сад!

Луна сияла и отражалась на блестящих листьях. Усыпанные цветами вишенки шептались под легким ветром и благоухали...

Безумное волнение охватило нас. Мы вдыхали этот запах земли, цветов, деревьев, мы тихонько срывали веточки и жевали их, и сладкая горечь проникала в сердца. Ах, как хотелось броситься на землю и впивать всем телом свежесть ее, аромат!

Мылись мы по очереди. Так как я была больна, мне уступили последнюю очередь, чтобы я могла подольше побыть в этом чудесном саду.

В тюрьму мы возвратились на рассвете. Пока нас распределяли по камерам, прошел час.

Я попала в камеру вдвоем с Лидой Дмитриевой, с которой я уже сидела в Соловецкой тюрьме. Я мечтала попасть с кем-нибудь из интересных, новых людей, хотелось поговорить, обменяться мыслями. Но, когда я вошла в камеру, сразу утешилась — это была деревянная келья с деревянными кроватями и сенниками, от которых хорошо пахло. Посредине камеры стояли простой деревянный стол и две табуретки. Мебель не была привинчена к полу, и камера напоминала обыкновенную комнату. Но самое большое чудо — это было окно: оно было забрано щитом только до половины, и из него были видны церкви, обнаженный весенний лес с мелькающими тысячами галок и ворон. Видна даже была одна цветущая яблоня!

А надо всем распростерлось бледно-пальевое утреннее небо с розовыми облаками. Небо! Знаете ли вы, как оно прекрасно! Если бы люди не видели его каждый день и каждый час, они удивлялись бы ему и за тридевять земель ездили смотреть на него, как сейчас ездят смотреть на море и на какие-нибудь редкости вроде водопадов и пещер. Я не могла наглядеться на небо, часами просиживала у окна, не отрывая глаз от него. Окно наше выходило на запад. Как хороши были закаты! Никогда ни одно произведение искусства не потрясло мою душу красотой так, как это окно, из которого было видно небо с силуэтом стройной колокольни.

Я писала:

На золотом шелку небес
Лиловые клубятся тучи,
Раскинул паутину сучьев
Весенний обнаженный лес.
Горит парчовая заря!
На светлом золоте заката
Чернеет мощная громада
Старинного монастыря.
Недвижен воздух.
Силуэты
Мелькают галок и ворон...
До странности похоже это
На старый позабытый сон!
Четыре века в этой келье
Затворницы влачили дни,
На золотой закат глядели
Из этого окна они.
Чернели те же колокольни
На бледном золоте небес,
И также сердце билось больно,
И также жаждало чудес.

И я, живя в Стране Советов,
Заточена в монастыре,
Гляжу на те же силуэты
На потухающей заре.
Бегут часы...
Гляжу в окно,
Стихи слагаю безыскусно;
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

Дня через четыре после нашего приезда в Суздаль ночью я проснулась от стука топора за окном. Лида тоже не спала.

— Неужели рубят наш сад?

Это было весьма вероятно. Ведь в Соловках мы уже пережили это, когда вырубали все деревья в прогулочных дворах, выпалили траву и выкорчевали до одного зеленые кустики. Тогда мы тоже тяжело переживали это, но сейчас, после трех лет тюрьмы, мы воспринимали вишневый сад как чудо красоты... Да он и был чудом красоты!

Сад был виден с нашего прогулочного двора, и мы глядели на него и мечтали о субботе, когда нас поведут в баню и мы ощутим его аромат, его несравненную прелесть.

И вдруг наш сад рубят. Мы прислушивались всю ночь, и когда раздавались удары топора, нам казалось, что удары приходятся по нашим телам.

Может быть, завтра заколотят окно, и мы снова будем лишены неба? Ведь мы в полной власти своих мучителей!

Мы с Лидой проплакали всю ночь, утром встали убитые. Не хотелось ни есть, ни читать. Со страхом дошли на прогулку и увидели шелестящий, на ветру, нетронутый, чудесный наш вишневый сад.

Мы ошиблись, его не рубили — это чинили забор. От двухмесячного пребывания в Суздале осталось впечатление золотых закатов и благоухающего вишневого сада.

Как много и как мало человеку надо!

Много — потому что кроме хлеба человеку еще нужна красота. Мало — потому что мы только через окно видели небо и раз в неделю проходили садом. Я в жизни много видела прекрасного — я не один раз слышала Шаляпина, Рахманинова, я видела прекрасные картины, я читала чудесные книги, но самое прекрасное, что я пережила, это суздальское небо и суздальский вишневый сад.

Этап

После двухмесячного пребывания в Суздале 10 июля 1939 года с самого утра мы поняли, что происходит что-то необычное. По коридору непрерывно и шумно ходили, отпирались камера за камерой, слышались слова команды и, что совсем удивительно, голоса заключенных. Наконец, вошли к нам.

— Собирайтесь с вещами.

И через полчаса:

— Выходите.

Нас вывели во двор. Там уже столпилось человек 30–40 женщин. Лица опять меня поразили какой-то зеленой бледностью и каким-то ненормальным выражением. Несколько женщин были обриты наголо. Из тех, с кем я сидела, были Мария Даниэлян, Нина Берестова и Лиза Цветкова, та самая, которой перестали писать дочери. Не было Жени Гольцман. Я спросила о ней Нину, и она сказала, что Женя умерла. (Это оказалось неправдой.)

Не было Ольги Ивановны Никитиной. Она лежала в тюремной больнице в параличе.

Меня окликнули:

— Кто здесь Ольга Слиозберг?

Я отозвалась. Ко мне подошла Ольга Радович, девушка 26 лет, подтянутая, с уложенными короной золотистыми косами и каким-то беленьким воротничком на тюремном платье. Ее неистребимый украинский румянец пробивался даже сквозь тюремную бледность.

— Я все мечтала попасть в одну камеру с вами, — сказала Ольга. — У нас с вами, наверное, найдется много общих интересов, я про вас слышала. А я все так неинтересно попадала, не с кем поговорить.

Я про Ольгу тоже слышала: она была искусствоведом и, кроме того, занималась художественным чтением. У нас, конечно, было много общих интересов, но в основном мы впоследствии не очень сошлись: Ольгу удивляли мои мучительные поиски причин, моя жажда справедливости. Для нее было ясно, что мы попали в лапы к бандитам и нужно как-то приспособиться и пережить эти страшные годы, не превратившись в истеричку и не разложившись морально.

Я встала рядом с Ольгой, и мы решили в дальнейшем по возможности держаться вместе.

После нескольких переключек и проверок нас сдали на руки конвою, посадили в закрытые грузовики и повезли во Владимир.

Мы в последний раз взглянули на вишневый сад, колокольни, силуэт монастыря. Нас ждала новая, страшная, неизвестная жизнь.

Во Владимире мы переночевали, а назавтра нас погрузили в теплушки и повезли на восток.

В нашей теплушке было 70 человек. Мы непрерывно разговаривали, общение с такой массой людей опьяняло после трех-четырех лет тюремной изоляции. Наконец можно было говорить полным голосом, мы кричали, пели. Если встать на нары, можно было глядеть в широкое и низкое, как щель, окно, которое шло вдоль теплушки.

В этапе я наконец услышала, как поет Лиза. У нее действительно был необыкновенный голос. Тембр — чистое золото. Пела она без всякого напряжения, разливалась рекой. Иногда она пела романсы Глинки и Чайковского, пела их очень по-ученически, как выучилась в самодельности. Но когда она пела народные песни — "Далеко-далеко степь за волгу ушла" или "Там в степи ночной умирал ямщик", или "Ах, ты сад, ты мой сад", — лучшего исполнения я в жизни не слышала.

С нами ехала одна казанская татарка, Асхаб. Это была полуграмотная женщина, мать шестерых детей. За что ее посадили, я не знаю, она никогда об этом не говорила. Она была очень активна, устроила себе изолированное и удобно оборудованное местечко, сразу же принялась за дела: вытаскивала нитки из какого-то одеяла, раздобыла две палочки, из которых сделала спицы, и начала вязать кофточку. Когда я ее спросила, для кого она вяжет, она ответила: "Ты глупый или как? Приедем в лагерь — менять буду на хлеб, на сахар". А я и не думала, что можно что-то менять на хлеб, на сахар. Асхаб была в курсе дела.

Эта деловитая Асхаб иногда, когда все стихали, пела нежным высоким голосом восточные песни, полные такой грусти и прелести, что хотелось плакать.

Среди нас было много рассказчиков. Галя Иванова помнила наизусть много поэм Пушкина, целиком "Евгения Онегина", "Горе от ума" Грибоедова, "Лейтенанта Шмидта" Пастернака.

Великолепно читала Ольга Радович. Наташа Онуфриева рассказывала "Идиота" Достоевского текстуально точно. Рассказывала она его три дня.

Как-то раз, когда Галя Иванова читала нам "Горе от ума", на остановке подошли к нашей теплушке командир конвоя и трое солдат. Они, очевидно, некоторое время слушали, потом быстро открыли дверь и потребовали отдать книгу (книг не полагалось). Мы сказали, что книг нет. Командир усмехнулся и ответил, что он своими ушами слышал, как читают. Начали обыск. Перевернули всю теплушку — книги не было. Галя предложила, что прочтет при командире без книги, и начала читать: "Мой дядя самых честных правил..." Командир постоял минут десять, подозрительно поглядывая, не показывает ли ей кто-нибудь книгу издали, потом махнул рукой, повернулся и вышел. Ему все-таки казалось, что мы его

обманули.

Так мы и занимались — литературой, песнями. О "делах", о политике никто не разговаривал. Все были счастливы, что вырвались из тюрьмы и едут хоть в лагерь.

Напуганы были так, что испытывали отвращение к любому слову, которое можно было истолковать как "политику".

Однажды вечером на каком-то длинном перегоне слетел от тряски замок с двери и дверь теплушки раздвинулась во всю ширь. Был закат. Необозримая степь лежала в цвету. В смрадный, душный воздух переполненной теплушки широкими волнами влилось дыхание степи, аромат трав и цветов. Мы замерли. И вдруг раздался истерический голос: "Конвой, конвой, закройте дверь!" Поезд шел, никто не слышал. Раздались еще голоса: "Надо вызвать конвой, а то подумают, что мы сделали это сами, хотели бежать".

Бежать не хотел ни один человек. Бежать могли люди, связанные с преступным миром, с политическими организациями. Ну что, например, могла бы делать я, если бы мне дали свободу, но не дали паспорта? Ведь дальше квартиры на Петровке в Москве мои мечты не шли, а на Петровке меня на завтра же поймали бы и возвратили в тюрьму с дополнительным сроком.

Итак, мы стояли молча и смотрели на "свободу", лежавшую на расстоянии вытянутой руки.

На ближайшем полустанке дверь закрыли и видение свободы исчезло.

Не помню, в Свердловске или в Иркутске, мы стояли день, и нас повели в санпропускник. Это было прекрасно оборудованное учреждение. Раздевались мы внизу и хотели уже подняться наверх по лестнице, когда увидели, что вдоль перил снизу доверху выстроились конвоиры. Мы скучились.

Почти все стояли, опустив глаза, с красными пятнами на лицах. Я подняла глаза и встретилась с глазами офицера, начальника конвоя. Он исподлобья смотрел на меня и говорил:

— Ну, давайте, давайте, не задерживаться!

И вдруг я почувствовала облегчение, мне даже стало смешно.

"Плевать мне на них, они для меня такие же мужчины, как бык Васька, которого я боялась в детстве", — подумала я и первая, нахально глядя в глаза конвоира, пошла вперед. За мной пошли остальные.

Итак, мы прошли сквозь строй. Как мы узнали потом, то же проделали в этот день еще с четырьмя партиями женщин, ехавших в нашем эшелоне.

Наверху на площадке было зеркало во всю стену. Мы не видели себя более трех лет. Все же мы были женщины. Увидев зеркало, мы побежали к нему толпой. Я подбежала к зеркалу и, стоя в толпе, не могла понять, где же я.

И вдруг я увидела усталые и печальные глаза моей мамы, ее волосы с проседью, знакомую грустную складку у рта...

Это была я. Я стояла, разинув рот, и не могла поверить, что я уже не молодая женщина, к которой на улице обращались "девушка", а вот эта пожилая грустная женщина, на вид лет пятидесяти... Конвоиры кричали:

— Давай, давай. Ваша партия моется двадцать минут! Мы вбежали в баню и принялись добывать себе шайки, тайком стирать какие-то тряпки, одним словом, включились в этапную суету...

Но еще долго я вспоминала грустное, усталое лицо, седую голову, глаза, которые глянули на меня из зеркала, и старалась приучить себя к мысли, что это была я.

Этап продолжался тридцать четыре дня. Был период, когда нам давали очень мало воды: не хватало посуды, а перегоны длинные. Я не очень страдала от жажды, но у нас в вагоне была женщина с тяжелым диабетом. Это была врач, по фамилии Завалишина. Она умирала от жажды. Мы уступали ей двойной и тройной паек, но для нее это было на один глоток.

Я сэкономила из своей порции полстакана для того, чтобы умыться. Однажды она

смотрела, как я чищу зубы и умываюсь, и сказала: "Какая жестокость! Умываться водой, когда хочется пить!" Мне стало ужасно больно, и я до сих пор без рези в сердце не могу вспомнить ее глаза загнанной лошади.

Она умерла на тридцатый день этапа. 14 августа 1939 года мы приехали на пересылку во Владивосток.

Колыма

*Колыма, Колыма,
Чудная планета!
Двенадцать месяцев зима,
Остальное лето. Местная частушка*

Магадан. Мой первый лагерь

После четырех лет тюрьмы, в которой главным наказанием, унижающим человеческое достоинство, было лишение труда, мы приехали в Магаданский лагерь. Нас приняли хорошо. Мы резко отличались от лагерников зеленой бледностью лиц, испуганным видом и полной бестолковостью. Первые три дня мы не работали, отдыхали и целыми днями обсуждали преимущества лагерной жизни перед тюремной. Мы видели людей и говорили с ними.

Население лагеря (около 1000 человек) нам казалось огромным: столько людей, столько бесед, так много можно найти друзей!

Природа. Мы ходили внутри огороженной проволокой зоны и смотрели на небо, смотрели на дальние сопки, подходили к чахлым деревьям и гладили их руками. Мы дышали влажным морским воздухом, ощущали на лицах морозящий дождь, садились на влажную траву, прикасаясь руками к земле. Мы жили без всего этого четыре года, а оказывается, это совершенно необходимо, без этого нельзя чувствовать себя нормальным человеком.

Труд. Мы мечтали о труде и говорили о нем словами, которые казались лагерникам, ненавидящим подневольный тяжелый труд, высокопарными, глупыми и неискренними. И вот наступил третий день лагерной жизни, когда нам сказали, что те, кто чувствует себя в силах, может выходить на работу. (Обязательный выход был через неделю.)

Накануне мы волновались, как перед праздником. 18 человек, в том числе и я, решили пойти на работу. Так хотелось выйти за зону, пройти по улице, попасть в неогороженное пространство, увидеть лес, море. — Выбирайте себе бригадира, — сказал разводящий. Бригадиром выбрали меня. Я осмотрела уже хозяйским взглядом свою бригаду. Интеллигентные лица, седые головы. Два профессора, одна писательница, две пианистки, одна балерина, человек шесть партработников. Все горожанки. У всех атрофированы мускулы четырехлетним бездействием. Все мечтают доказать трудом, какие они честные, как хотят работать, какие они советские люди. Нас выводят за зону, и мы идем строящимся городом.

Приходим на большой пустырь на окраине города. На холме стоит почти достроенное здание больницы, где веселые румяные девицы протирают окна, переговариваются между собой и заигрывают с охраной, с мужчинами-монтажниками.

Моросит колымский дождь, но нам весело чувствовать его, нам кажется, что мы почти на свободе.

Подходит десятник Колмогорский. Это стройный мужчина лет сорока, щегольски, на наш взгляд, одетый, в серой каракулевой папахе, блестящих сапогах, в телогрейке, туго стянутой широким поясом. С любезной улыбкой он обращается ко мне и объясняет задание:

— Вы будете копать канаву. Она начата, имеет метр глубины. Надо углубить ее до трех

метров. Норма выработки грунта — девять кубометров в день на человека. Вы лично можете не работать, норма на бригадира не дается. Продолжительность рабочего дня в летнее время — пятнадцать часов. Один час перерыва на обед. Начало работы в шесть часов утра, конец — в девять вечера. Обед привезут в час.

После этого он выдает тяжелые ржавые лопаты, и мы приступаем к работе. Мы не понимаем, что это такое девять кубометров, мы смутно понимаем, что значит пятнадцатичасовой рабочий день. Мы полны энтузиазма.

Я расставляю свою гвардию через три метра человек от человека, становлюсь сама, и начинаем работать. Я заявила, что перекур будет по сигналу каждый час на десять минут.

Моросит дождь. Грунт — глина. Оказывается, что лопата очень плохо входит в грунт, и мы захватываем только на кончик мокрую глину. Глина ужасно тяжелая и обладает противным свойством сваливаться с лопаты, пока довольно медленно доносишь ее наверх, на бровку. Выкинуть ее рывком у нас не хватает сил. Все же мы мужественно принимаемся за работу. Часов у меня нет, но я ясно чувствую, что прошло ужасно много времени, я устала до изнеможения.

— Перекур! — объявляю я.

Моя мужественная бригада протестует:

— Что вы, прошло не более двадцати минут! Конечно, может быть, и двадцать минут, но у меня нет больше сил и нет сил ни у кого. Мы кладем лопаты и садимся на черенки.

— Кончай перекур! — командую я, и мы опять начинаем копать.

До обеда мы делаем, наверное, тридцать перекуров, и все труднее и труднее дать команду на работу и встать и втыкать ржавую, неудобную, облепленную глиной лопату в грунт и выбрасывать обидно маленькие комки глины на бровку.

Привозят обед, роскошный, с нашей точки зрения. Уха из свежей кеты, куски жареной кеты и даже кисель. Как мы ни устали, мы едим с удовольствием. (Тогда мы еще не знали, что первую неделю всем положено усиленное питание, причем независимо от выработки. Потом начнется голод, потому что норму мы выполнить не сможем.)

Кажется, что звонок на работу прозвенел невероятно быстро. Мы становимся по местам и копаем. Рядом со мной стоит маленькая мужественная женщина Рая Гинзбург. Я вижу, как пот льется у нее со лба неестественно обильными ручьями. Она работает, закусив губу, но каждый раз, когда я собираюсь объявить перекур, она торгуется со мной: "Еще десять лопат". Она же толкает меня: "Давайте сигнал на работу".

Я смотрю на нее с уважением. У нее маленькие изнеженные руки и хрупкая фигурка. У нее большое сердце. Она никогда не работала физически. Она гораздо слабее меня, но выдержаннее. Я люблю ее и стараюсь по ней равняться.

День тянется невероятно медленно. Подходит Колмогорский. Я стараюсь по его виду определить, много ли мы сделали, но не могу понять.

В один из перерывов к нам подходят девицы из бригады поломоек и смеются:

— Ну, Колмогорский вам угодил. Это работенка!

— А вы делаете норму, справляетесь? — спрашиваю я.

— Мы? По три нормы и платочки обвязываем. Мы привычные, в лагере уже по 5–7 лет. Я с уважением смотрю на них.

— А что за человек Колмогорский?

— Он кончает срок, по лагерям с 1930 года. Казак. Мальчик не промах, устроился неплохо, девок хоть отбавляй.

Мы копаем. Наверное, никогда не будет отбоя. Я теряю счет перекурам, и под конец дня даже Рая не протестует, когда я объявляю перерыв.

Мы копаем, а дождь моросит, наши тяжелые бушлаты мокры насквозь, глина облепила обувь. Мы копаем. Наконец звонок. Отбой. Обратный путь кажется невероятно длинным.

В первый день мы минуем столовую, заходим в барак умыться перед ужином. Но оказывается, что вернуться в столовую невыносимо, нет сил. Мы валимся на койки, мгновенно засыпаем, и очень скоро раздастся звонок на подъем. В дальнейшем мы уже

прямо с работы, грязные и облепленные глиной, ужинаем, а потом добираться до барака.

Мы копаем три дня. С тревогой мы смутно понимаем, что канава не подвигается, что ни о каких девяти кубометрах в день на человека не может быть и речи. Но я все же почему-то надеюсь, что мы сделали довольно много. Ведь мы так старались!

К концу третьего дня приходит Колмогорский с метром и замеряет. Потом странно ухмыляется и приглашает меня зайти в контору. Я захожу и вижу роскошно накрытый стол. На столе скатерть из чистого мешка, спирт, банка сгущенки, соленая кета, зеленый лук, сало. Мне это кажется фееричным. Он приглашает меня за стол, и я сажусь. Он угощает меня спиртом и заявляет, что отказываться нельзя, "иначе блат будет поломан".

Я храбро первый раз в жизни пью спирт. Это очень противно, но я понимаю, что с ним надо установить хорошие отношения.

От спирта ноги слабеют, но голова еще ясная. Я перехожу к дипломатической беседе.

— Плохо, очень плохо. Вы сделали 3 процента нормы. Наверное, ваши бабочки по кустам с мужиками шныряют?

— Что вы, у нас такой состав бригады! Все порядочные женщины. Почти все бывшие члены партии, они стараются изо всех сил! Но нам трудна эта работа, женщины пожилые, горожанки, после четырех лет тюрьмы... Дайте нам другую работу, хотя бы мыть полы и окна, мы покажем, как добросовестно мы будем работать...

— Оставьте! Ну, сделали бы полноремы, а то 3 процента. согласитесь, что это маловато. Признавайтесь, бегают ваши дамы к мужчинам?

— Нет, нет! Разве вы не видите, какие это люди? Как они стараются изо всех сил. Ведь это же культурные люди, бывшие члены партии.

И вдруг я вижу, что с лица Холмогорского кто-то сдернул маску любезного собеседника:

— Ах, бывшие члены партии? Вот если бы вы были проститутки, я дал бы вам мыть окошечки, и вы делали бы по три нормы. Когда эти члены партии в 1929 году раскулачивали меня, выгоняли из дома с шестью детьми, я им говорил: "Чем же дети-то виноваты?" Они те отвечали: "Таков советский закон". Так вот, соблюдайте советский закон, выбрасывайте по 9 кубометров грунта! — Он хохотал. — Соблюдайте советский закон!

Я повернулась и пошла.

— Подождите-ка, дамочка! Ведь вы-то не были членом партии, я видел ваше дело. Буду с вами откровенным. Вы мне очень нравитесь. Я хотел бы иметь порядочную женщину, мне надоели эти проститутки. На тяжелой работе, на голоде вы пропадете. Я вас переведу бригадиром к девушкам в дом, буду о вас заботиться.

Перед моими глазами стояли лица Раи, Розы Боровой и других женщин. Все они ждали меня, надеялись.

— Я не согласна, — ответила я. — Будь что будет! Я хочу к своим.

— Что ж, вольному воля, — сказал Колмогорский. Я возвратилась в свою бригаду. Я была со своими.

Алтунин

К сожалению, я забыла имя этого замечательного человека. Фамилия его была Алтунин, он из Воронежской области. Сначала он работал, кажется, на заготовках кожсырья, а потом перешел на партийную работу. Это был красивый человек, лет сорока, с рыжеватой бородкой, чисто русского типа. Видно, раньше он был очень силен, широкоплечий, крупный. Тридцать восьмой и тридцать девятый годы он был на прииске и там, что называется, "дошел". Ослаб, кашлял, выхаркивал легкие. Руки у него были золотые, его и перевели инструментальщиком в женскую бригаду на стройку в Магадан.

У меня с ним был такой разговор.

— Как началось "это" в 1937 году: тот враг, этот враг, исключаем из партии, поднимаем руки — убиваем своих же товарищей.

Сначала я сказался больным, не ходил на партийные собрания, чтобы руку не поднимать, а потом вижу, надо что-то делать, так нельзя: партию губим, людей хороших, честных губим. Не верил, что все предатели, я же людей знал хорошо.

Сел как-то вечером, написал заявление в трех экземплярах: одно — в свою партийную организацию, одно — лично Сталину, одно в ЦКК. Пишу, что губим революцию. Может, это у нас местное творчество, вредительство, так это полбеда, а если по всей России — так это контрреволюция.

Написал — всю душу вылил. Показал жене. Она говорит:

— Ты себя губишь, как отправишь это заявление, тебя назавтра же посадят.

А я говорю: пусть посадят, лучше сидеть, чем руку поднимать и товарищей губить.

Ну, по ее все и вышло. Подал заявление, а через три дня меня посадили. Живо обработали, десять лет — и на Колыму.

— И вы никогда не жалели, что сделали это?

— Нет, один раз пожалел. Сильный мороз был, послали нас пеньки корчевать в лес. Инструмент был — топоры ржавые, ни лома, ни кайла. Помучились мы с пеньками, еле-еле четыре штуки вытащили. Говорим — ну их к черту, развели костер, пожгли те пеньки. Вечером приходит десятник — ничего не сделали.

Прямо из леса в карцер. А карцер — три квадратных метра и окна без стекол. Печки нет. Бегал я, бегал по этой клетке, и вдруг так мне обидно стало: других сажали, а я сам себя посадил. И что толку, что написал? Все осталось по-прежнему. Сольцу, может, стыдно стало, а Усатому — все равно, его не прошибешь. Сидел бы сейчас с женой, с детьми в теплой комнате за самоваром. Как подумал я это, стал голову бить о стену, чтобы мысли эти не смели ко мне приходиться. Так всю ночь бегал по клетке и себя ругал последними словами за то, что пожалел о спокойной жизни.

Алтунин проработал с нами одну зиму. Весной 1940 года он умер в лагерной больнице от туберкулеза.

Игорь Адрианович Хорин

В конце декабря 1939 года нашу бригаду послали на "легкую работу": мы пилили и кололи дрова во дворе пятиэтажного дома, потом разносили дрова по этажам. Разносили мы дрова по очереди, чтобы хоть немного погреться, а потом снова пилили и кололи, с восьми часов утра до шести вечера, а мороз был около пятидесяти градусов.

В теплых и благоустроенных квартирах жили работники НКВД или договорники. Там почти всегда пахло вкусной едой, иногда духами. Пробегали дети, порой слышалась по радио музыка. А у нас в бараках пахло сушившимися у печи портянками и валенками, слышны были голоса усталых и голодных людей, а порой и страшная ругань забредших в "политический" барак уголовниц. Обитатели уютных квартир боялись с нами общаться, как с зачумленными. Я не помню случая, чтобы мне предложили сесть погреться или дали поесть.

И вдруг мне неслыханно повезло: заболел нормировщик, который начислял зарплату по нарядам. Ко мне подошел начальник конторы и спросил меня, могу ли я начислить зарплату рабочим. (В моем деле числилось, что я — экономист по труду.) Вообще-то это было незаконно, имелось указание для политических: ТТФТ — только тяжелый физический труд. Но горела зарплата и временно пришлось взять з.к. с тяжелой политической статьей.

С наслаждением я вошла в контору, теплую светлую комнату, и села за стол. В конторе работали бытовички, чисто одетые, откормленные. Каждая из них имела "лагерного мужа" из начальства. Они убегали на обед и посередине работы на вольные квартиры, ходили без конвоя, начинали работу в 9 часов, кончали кто когда. Из мужчин я заметила только чертежника. Его звали Игорь Адрианович Хорин. Это был желчный человек 35 лет, с виду больной туберкулезом.

Работы у меня было невероятно много: груды нарядов — надо было пронормировать и расценить за какие-нибудь две недели. Поэтому я не очень замечала, что делается вокруг,

работала, не поднимая головы. Очень мне хотелось подольше пробыть в конторе, отдохнуть от мороза, пилки и колки дров, таскания по этажам неподъемных тяжестей. Обратила я внимание на Хорина вот по какому поводу: одна девушка попросила его одолжить ей рубль. Он вышел и через 15 минут подал ей бумажный рубль. Девушка побежала в буфет, но скоро со смехом вернулась: рубль оказался простой бумажкой, артистически подделанной под рубль. Бумажка пошла по рукам, все восхищались искусной подделкой. Игорь гордо улыбался и говорил:

— Это пустяки, то ли я еще могу сделать!

Мне рассказали, что он был знаменитым фальшивомонетчиком, подделывал номера в облигациях на те, которые выиграли. Кроме того, он был замечательным шахматистом, давал сеансы игры на 30 досках, обыгрывал лучших шахматистов Магадана.

Я наслаждалась своей работой и только молила Бога, чтобы нарядчик подольше болел. Омрачало мою жизнь только то, что я кончала работу очень поздно, а идти ночью одной по Магадану с его темными, занесенными снегом улицами было очень страшно.

Надо сказать, женщин на Колыме было мало, кончившие сроки уголовники и бесконвойные заключенные (бытовики и уголовники с легкими статьями), годами живущие без женщин, просто набрасывались на одиноко идущую женщину, как волки на добычу. Однажды меня напугал пьяный повар с парохода, который, угрожая ножом, требовал, чтобы я пошла с ним. Я начала кричать, и его забрал патруль. Я смертельно боялась, и каждый вечер переживала настоящие муки. Как-то я вышла с работы вместе с Хориным и попросила его:

— Пойдемте вместе, я очень боюсь.

— Не маленькая, дойдете, — ответил он и быстро пошел вперед.

После этого, естественно, я говорить с ним не хотела. Однажды я раздобыла томик Лермонтова и в обеденный перерыв его читала. Я заметила острый взгляд Хорина, он смотрел на книгу. Я заперла ее в ящик стола и пошла разговаривать с бригадирами. Вернувшись, я книги не нашла, хотя ящик был заперт. Очень огорченная (книга в лагере — драгоценность), я даже говорить не хотела о своей пропаже, понимала, что с такими квалифицированными ворами не поспоришь. Однако к концу работы книга вновь появилась в ящике, а в книге лежала записка:

"Очень прошу вас простить мою грубость. Мне надо поговорить с вами. Я буду ждать вас у выхода. Хорин". Удивленная и обрадованная находкой, я вышла после работы. Хорин меня ждал. Оказывается, он не знал о существовании Лермонтова и за день много прочел и даже запомнил наизусть. Способности у него были поразительные.

— Расскажите мне про Лермонтова, когда он жил, кем был, — попросил он меня. Когда я ему сказала, что он был убит в 27 лет, Хорин чуть не заплакал.

С этого дня мы ходили домой вместе, и все наши разговоры были о литературе. Я ему читала стихи Блока, Тютчева, Пушкина и Ахматовой. Те, что сохранились в моей памяти. Даже рассказывала целые романы Тургенева, Толстого, Достоевского. Он впитывал все, как иссохшая земля благословенную влагу.

Жизнь он прожил страшную: сын офицера, старший из шести детей. Отца своего он ненавидел за дикую жестокость, превращавшую в ад не только жизнь безответных денщиков, но жены и детей.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, его отдали в кадетский корпус в другой город. Несмотря на муштру, тяготившую нервного свободолюбивого мальчика, он даже в каникулы не хотел ехать домой в Казань. В 1917 году отца его буквально разорвали ненавидевшие его солдаты. Мать с пятью младшими детьми уехала за границу, кадетский корпус распустили, и Игорь сделался беспризорником. Ненависть к отцу, обида на мать, бросившую его на произвол судьбы, перешли в любовь к революции. Он пристал к какой-то воинской части. Маленького роста, худенький, он в свои 12–13 лет сходил за десятилетнего. Необыкновенная наблюдательность, память, сообразительность — все делало его незаменимым разведчиком. Он провоевал всю гражданскую войну, а потом заболел тифом и попал на полгода в

больницу. Соседом его по больнице был какой-то образованный человек. Он заметил необыкновенные способности мальчика и стал готовить его в университет. За полгода они прошли математику и физику за среднюю школу, но учитель Игоря умер. Перед смертью он дал Игорю письмо к своему товарищу, преподавателю Университета. Выйдя из больницы, Игорь пошел к адресату, тот ему помог поступить в университет на физмат.

Вначале он наслаждался учебой, товарищами, всем строем жизни. Он даже подал заявление о приеме в партию, но какой-то член комиссии, слышавший о его отце, возражал против приема в партию "офицерского" сына. Взбешенный Игорь, который никогда не отличался выдержкой, запустил в говорившего табуреткой, после чего его исключили из университета. Так окончилась его ученая карьера, которая и длилась-то всего несколько месяцев.

И началась у Игоря новая полоса жизни: преступный мир принял его с распростертыми объятиями. Он подделывал номера облигаций на выигравшие, продавал поддельные бриллианты, показывал сначала настоящие, а при вручении их покупателю мгновенно подменял. Помогало ему обманывать людей еще то, что у него сохранились некоторые манеры юноши из хорошего общества. Он умел себя держать, хорошо одевался, иногда даже вставлял в речь французскую фразу с отличным произношением, усвоенным от матери, воспитанницы Смольного института.

Но при всех его талантах длилась его преступная деятельность недолго. Его арестовали и отправили на Беломорканал. Он мало рассказывал о своей лагерной жизни, но я знаю, что благодаря своей "благополучной" статье и способностям он устроился неплохо, работал чертежником и топографом. Однако глаза у него были зоркие, он видел много жестокости, несправедливости и страдания. Освободившись, он попал в театр на "Аристократов" Погодина. Не могу забыть ярости, с которой он говорил о Погодине:

"Как я жалею, что не встретился с Погодиным! Я набил бы ему морду, чтобы он не наживался на человеческом горе и поменьше врал!"

На Беломорканале он сошелся с девушкой-студенткой. Прожил с нею недолго, но она ему многое дала. Как и я, рассказывала о литературе, читала стихи. Иногда им удавалось раздобыть какую-нибудь книгу. Однажды попался том Маяковского, и Игорь запомнил его весь наизусть. Вышел он из лагеря с профессией чертежника с твердым намерением "завязать" с преступным миром и сделаться писателем.

Он поселился на даче под Ленинградом. Целыми днями читал и писал "Повесть о моей жизни". Никуда он не оформлялся на работу, зарабатывал чертежами. Это показалось весьма подозрительным. С его прошлым затворническая жизнь с книгами и тетрадами представлялась невероятной. Игоря арестовали как тунеядца. Если первый свой арест он считал заслуженным, то второй возмутил его до глубины души. Он рассказывал на следствии, что решил стать образованным человеком и писателем, а ему пришивали какие-то фантастические дела. Ко всему инженер, который давал ему работу, был арестован как враг народа. Все это произошло в Ленинграде после убийства Кирова, в обстановке обостренной подозрительности. Одним словом, он был осужден на 10 лет по статье УД (уголовная деятельность) и отправлен на Колыму. Наряду с озлобленностью и цинизмом в нем была какая-то детская наивность. Не зная другой жизни, кроме жизни лагерников и воров, не зная женщин, кроме проституток (короткая связь на Беломорканале оставила в его душе мимолетный след), он преувеличивал благородство и высокую нравственность интеллигенции. Он иногда спрашивал меня смешные вещи: как мы сидели за столом, во главе ли стола сидели мать и отец, служили ли им дочери, как мой муж делал мне предложение, долго ли я была невестой и т. д. На меня он смотрел снизу вверх, как на какое-то особое, возвышенное существо. Помню один комический случай. Как-то в очередном приступе самоуничтожения Игорь начал говорить, что он не имеет права даже стоять близко к такой женщине, как я, и т. п.

— Ну что вы сравниваете меня и себя? — ответила я. — Я росла в прекрасной, благополучной семье, окруженная любовью и лаской. К моим услугам были любые книги,

музеи, театры. Если бы я попала в такую жизнь, как ваша, я бы тоже стала воровкой.

Он:

— Нет, вы никогда не могли бы быть воровкой.

— Но почему же? Обязательно была бы!

Он (с раздражением):

— Да вы в первый же день обязательно попались бы!

Вот это верно. Воровке нужны осторожность, зоркость, наблюдательность и много еще качеств, которые у меня полностью отсутствуют.

Не зная, как нужно разговаривать с порядочной женщиной, Игорь относился ко мне с чопорной вежливостью: он никогда не брал меня под руку, никогда не заводил разговора на интимные темы. Только раз заговорил со мной как с женщиной: меня послали за 10 километров от Магадана в поселок Марчекан закрывать наряды. Мне было страшно идти одной, и я попросила Игоря придумать какое-нибудь поручение в Марчекан и проводить меня. По дороге он был мрачен и молчалив. А день был отличный, ярко светило мартовское солнце, небо сияло. Я сказала:

— Ни вертухая, ни собаки, ни выкриков: "Шаг вправо, шаг влево — стреляю". Мы идем, как обыкновенные люди...

Он молчал. Мне даже показалось, что он не слушает меня, занятый своими мыслями. Но вдруг с заблестевшими глазами он сказал:

— А почему же вы меня не боитесь? Ведь я тоже мужчина!

Я ответила с полным убеждением:

— Я не только вас не боюсь, но если бы нужно было послать мою дочь в это путешествие, я попросила бы вас сопровождать и охранять ее.

Он схватил мою руку и поцеловал ее. Мне показалось, что на глазах его блеснули слезы.

Мы по-настоящему дружили с Игорем. Это была единственная светлая страница моей лагерной жизни. Наша дружба была овеяна поэзией горячо любимой нами литературы. Я приобщала его к ней по мере моих сил. Он, гораздо более одаренный, чем я, сразу чувствовал все ценное из того, что я сумела ему рассказать. Однажды я рассказала ему застрявшего в моей памяти с юности "Умиряющего лебедя" Бальмонта. Он сморщился, как любитель музыки от фальшивой ноты, и сказал:

— Лучше вспомните еще что-нибудь из Некрасова или Блока. Это мармелад.

Так мы дружили с Игорем целых три месяца. И вдруг все рухнуло. Наш этап 4 апреля 1940 года отправили в тайгу на лесоповал. Неожиданно ночью объявили, что завтра никто на работу не выходит, нас отправляют на этап.

Такова лагерная жизнь.

Ночью я проснулась от стука в окно над моей головой. Это был Игорь. Он проделал отверстие в раме, и я могла с ним поговорить. Он спросил, что он может для меня сделать. Я была поражена, как он мог пробраться в женский лагерь, узнать, где я сплю, сделать дыру в раме. Только лагерник понимает, как это трудно. Очевидно, он пустил в ход все свои связи и деньги (он выигрывал деньги в шахматы) и всю свою ловкость, чтобы проститься со мной. Я попросила его сообщить моим родным, что я долго не буду писать из-за перемены места жительства. Он это исполнил.

Я больше не видела Игоря, но через год я получила от него письмо: он лежал в больнице в последней стадии туберкулеза.

"Я умираю, — писал он, — и хочу вам сказать, что я думаю все время о вас. Вы были последним светлым лучом в моей жизни. Помните ли вы день, когда вы сказали: "Мы идем, как обыкновенные люди". А у меня в душе бушевала мука: ведь то, что так доступно обыкновенным людям, для нас недостижимо, как луна на небе..." Дальше шли стихи.

Это письмо у меня отняли при очередном обыске.

Из стихотворения я запомнила только последнюю строфу:

Я называю Вас своим сердечным другом
Еще за то, что наших жизней лето
Идет к закату за Полярным кругом,
Что и моя и Ваша песня спета.

К письму была приложена приписка его товарища:
"Игорь Адрианович Хорин умер 5 мая 1941 года". Ему было 36 лет.

Мама

*Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.*
К.Симонов

У меня болели зубы. Вечером после работы я подошла командиру и попросила отпустить меня в больницу. Командир внимательно посмотрел на меня и изрек:

— Не надо идти, пройдет и так.

Спорить было бесполезно. Я села у печки и начала терпеть. Боль была адская. Я плакала от бессилия, от боли, от обиды. К утру боль начала проходить, но щеку раздул огромный флюс. На утренней поверке командир опять посмотрел и изрек:

— Теперь идите.

Я пошла. Мороз был не сильный, градусов 35, светило солнце, идти было десять километров. Боль прошла. Мне было жарко, да и устала я очень от бессонной ночи, от боли, от слез, от всей своей жизни.

Я решила отдохнуть и легла в сугроб. Сразу сладкое оцепенение охватило меня, я заснула. И увидела в бреду ли, во сне ли мамино лицо, красное от напряжения и гнева.

— Сейчас же вставай! — говорила мама.

— Мамочка, не надо меня будить, мне так хорошо! Хорошо так умереть и больше не мучиться. Мамочка, дай мне умереть!

— Ты умрешь, отдохнешь, а я? Я буду жить с мыслью, что никогда тебя не увижу, что ты погибла в сугробе? Я-то ведь не могу умереть, у меня твои дети на руках!

Я встала и пошла. Все плыло у меня перед глазами.

Через полчаса я без сил опять легла в сугроб и опять увидела мамино лицо, и опять встала и поплелась. Шла я эти десять километров часов пять. Ложилась в сугроб и вставала, потому что неотступно видела мамино лицо.

В больнице я свалилась без памяти с температурой 40,5 и пролежала неделю. Доктор удивлялся, как я прошла в таком состоянии десять километров.

Галя

С Галей Прозоровской мы работали на пару на лесозаготовках. Поначалу она была сильнее и ловчее меня, но постепенно силы ее начали убывать. Она работала все медленнее и медленнее, и мы кончали нашу общую норму (8 кубометров в день на двух человек) все позднее и позднее. Все уже уходило домой, а наш штабель не был еще собран, и двигаться быстрее у нас не было сил.

Я всегда сдавалась первая:

— Бросим, Галя, завтра сложим, я больше не могу. Галя смотрела на меня глазами загнанной лошади и говорила:

— А норма? Переходить на четыреста грамм? (Выполнявшие норму получали 600

граммов хлеба, а не выполнявшие — 400 граммов в день. Эти 200 граммов разницы решали вопрос нашей жизни, потому что на 400 граммов хлеба в день нельзя было жить при работе на пятидесятиградусном морозе.)

— Да... Норма! Ну, поднатужимся. — Мы складывали штабель дров, причем я немилосердно "туфтила", подкладывая внутрь штабеля снег и коряги. Галя меня умоляла:

— Не надо, вдруг поймают. Какой позор! Бывшие члены партии и подкладывают в штабель снег.

Так или иначе, восемь кубометров сложены, и уже совсем темно, а идти домой пять километров. И вот мы пускаемся в обратный путь. Мороз сковывает спину, руки и лицо. Нужно все напряжение воли, чтобы идти, идти часа полтора-два по пустынной лесной дороге, когда каждая нога весит пуд, от слабости и голода трясутся колени, платок, закрывающий лицо, превращается в ледяную заслонку, дышать трудно.

Но впереди теплый барак, горячая похлебка, 200 граммов тяжелого, мокрого и такого вкусного хлеба. Впереди отдых на нарах, дружеские лица, пылающая печь. Итак, мы идем.

Каждый день мы уходим с участка все позже и позже, дорога домой удлинится, потому что вырубка все дальше отходит от барачков.

Однажды мы с Галей шли молча, еле передвигая ноги, Было смертельно холодно. Луна сияла и, отражаясь в снегах, освещала путь. Мы уже приближались к лагерю, как вдруг Галя с размаху упала на спину и осталась лежать неподвижно.

— Галя, Галя, — тормошила я ее. Я не могла понять, умерла она или без сознания.

Галя лежала, как мешок. Нечего было и думать поднять ее, на это у меня не хватало сил. Я тормошила, толкала ее — никакого ответа. Вынула руку из рукавицы, чтобы пощупать пульс, и мгновенно отморозила руку. Засунула руку за пазуху, не согревается, не чувствует. Еле-еле добилась, что рука начала болеть — значит, оживает. Так я и не поняла, умерла Галя или в обмороке.

Если умерла — подберут и завтра, а сейчас надо идти, а то я тоже замерзну. А если жива? Через час она превратится в кусок льда. Сделать я ничего не могу и решаю уйти, а то замерзнем обе.

Я решительно делаю несколько шагов по дороге, потом возвращаюсь.

— Галя, Галя!

Ответа нет. Что же делать? Машу рукой и опять иду по направлению к дому, и опять возвращаюсь.

— Галочка, Галя!

Ответа нет. И вдруг слышу скрип саней и топот лошади по параллельной дороге, метров двести от нашей. Бегом бегу, кричу, натыкаюсь на пни, падаю, задыхаясь от мороза, крика, бега.

Наконец, я около мужика, везущего навоз.

— Ради Бога, спасите, женщина замерзает!

Он очень недоволен. Он тоже замерз, устал и мечтает о печке, о похлебке, о двухстах граммах вечернего хлеба.

Я умоляю его, я плачу, цепляюсь руками за его бушлат, когда он хочет уехать. Ругаясь, он поворачивает на нашу дорогу, и мы вдвоем взваливаем на мерзлый навоз Галю. Сами идем пешком, потому что лошаденка тоже чуть жива. Минут через пятнадцать мы в бараке, сидим у печи и едим свою баланду, поделившись с нашим спасителем. Он оказывается ленинградским певцом. Мы говорим о театре, о музыке, а очнувшаяся Галя лежит на нарах, согревается, и слезы непрерывно бегут из ее глаз.

Хлеб

Выполнявшим нормы раз в месяц давали дополнительно один килограмм хлеба.

Об этом хлебе мы мечтали задолго. Какой вкусный был этот хлеб! Обычно я его получала, но один месяц дело у меня не ладилось. Я несколько раз недотягивала норму, и

месячного выполнения не получилось.

Сердце мое задолго уже предчувствовало недоброе, но когда перед выходным днем, придя с работы, мы бросились к спискам и я не нашла своей фамилии, я ощутила очень большое горе. Я надеялась, что мне все же выпишут этот килограмм хлеба.

Попавшие в список радостно побежали получать хлеб, а не попавшие делали равнодушные лица и притворялись, что не смотрят, как рядом пируют.

Выходной день был испорчен. Правда, кусочек мне дала соседка, но это совсем не то, что целый килограмм.

Назавтра, когда мы возвратились с работы, дневальная встретила меня возгласом:

— Беги в барак, посмотри, что у тебя под подушкой лежит!

Сердце у меня забилося. Я подумала: наверное, мне все-таки дали мой хлеб!

Я подбежала к постели и отбросила подушку. Под подушкой лежало три письма из дома, три письма! Я уже полгода не получала писем.

Первое чувство, которое я испытала, было острое разочарование: это был не хлеб, это были письма!

А вслед за этим — ужас.

Во что я превратилась, если кусок хлеба мне дороже писем от мамы, папы, детей!

Я раскрыла конверты.

Выпали фотографии. Голубыми своими глазами глянула на меня дочь. Сын наморщил лобик и что-то думает.

Я забыла о хлебе, я плакала.

Бася

Басе было девятнадцать лет. Она получила срок — пять лет исправительно-трудовых лагерей за сионизм.

Арестована она была вместе со своим женихом, двадцатилетним студентом. Наружность у Баси была типично ангельская, если можно так выразиться. Золотые локоны, голубые глаза, ярко-розовые щеки, рост — сто пятьдесят сантиметров, губки — как вишни. Но редко наружность бывает так обманчива. Бася была далеко не ангел, это была девица с очень сильным характером. И еще голос. Голос у Баси невероятно пронзительный, высокий, она во все вмешивалась, стояла за правду, и если она была в бараке, это было слышно.

Как-то на разводе к ней подошел нарядчик:

"Пойдешь в дежурку полы мыть".

Мыть полы считалось блатной работой: в тепле, дело женское, не то что возить дрова на быках или кайлить землю. Бася охотно согласилась, но, придя с работы, мы застали ее в бараке горько плачущую и рассказывающую своим пронзительным голосом, как сначала начальник угощал ее колбасой и салом, потом начал приставать к ней так, что ей пришлось смазать его мокрой тряпкой, а он разозлился и сказал:

"Завтра пойдешь возить бревна на быках". Бася ужасно боялась быков, а они ее не слушались. Они привыкли к грубым голосам, мату, а Бася бегала вокруг них, ругала их противными животными и плакала. А они ложились и обращали на нее не больше внимания, чем на муху. Проходило два-три дня, начальник опять звал ее мыть полы, а кончалось все теми же быками. Наконец начальнику надоело, и он решился на крайние меры.

— От тебя никакой работы, — заявил он как-то на проверке, — день возишься, быков занимаешь и ничего не привозишь. Завтра пойдешь на пару с Прохоровым возить бревна.

Прохоров был одним из немногих мужчин в нашем лагере. Он чинил сбрую, инструмент, возил самые тяжелые бревна. Это был мужчина лет пятидесяти, страшного вида, огромный, с плечами, похожими на комод, с длинными, чуть не до колен, руками. Говорили, что при раскулачивании он убил трех человек. Матерщинник, каких мы еще не видели, он казался Басе ужасно страшным. Она рыдала и говорила, что не пойдет с Прохоровым, лучше в карцер. Вдруг в барак вошел Прохоров.

— Ты чего ревешь? — спросил он Басю. — Прохорова боишься? Прохорова не бойся, начальников бойся! Прохоров тебя не обидит. — Он повернулся и вышел. Озадаченная Бася успокоилась и пошла назавтра работать на пару с Прохоровым с двумя упряжками быков. С этого дня началась странная дружба между огромным гориллообразным Прохоровым и ангелочком Басей. Он ее и подкармливал и работал за нее. Наша Бася потолстела и говорила, что Прохоров очень хороший.

Однажды весь барак смеялся над рассказом Прохорова, а Бася топала на него ногой и кричала:

— Замолчи, замолчи!

Прохоров, не обращая на нее внимания, говорил:

— Погузил я подводы, хватать, Баськи моей нет. Туда, сюда, гляжу — стоит за деревом, плачет, руки отморозила, штаны застегнуть не может. Ну, я чин чином застегнул ей штаны, ремень затянул, зажег охапку сена — грей руки, Баська. Посадил на бревна, целенькая приехала. Знай Прохорова!

Бася проработала с Прохоровым два года, и он охранял ее, как верная собака.

Освободившись, Бася поехала к своему жениху, который отбывал срок в одном из дальних мужских лагерей. Жених ее, видно, был пронырливый парень, сумевший втереться в доверие к начальству, и, освободившись, остался работать в лагере снабженцем. К приезду Баси он приготовил роскошную, с лагерной точки зрения, комнату, продуктов было заготовлено на год. А в лагере люди умирали с голоду. Нетрудно было догадаться, откуда такие запасы.

Умница Бася поняла всю ситуацию с первого взгляда: она насмотрелась лагерной жизни и сама голодала достаточно из-за воровства начальников.

Высказав всю правду в лицо обескураженному жениху, Бася, не попробовав даже приготовленного угощения, села в попутную машину и уехала обратно. В Ягодном она поступила на работу в столовую, а через год вышла замуж за лучшего сапожника в Ягодном Моню Лурье. Моня был студентом Литературного института, но, к счастью для него, отец-сапожник в свое время заставлял своего ученого сына помогать ему в работе. Это спасло Моне жизнь. Весь свой срок он латал тяжелые, ржавые от пыли ботинки лагерников, их прожженные у костра валенки, иногда шил изящные туфли женам начальников. А освободившись, прекрасно устроился в Ягодном. Бася родила прелестного ангелочка — Мишеньку. Она оказалась очень хорошей матерью и женой. Комната у них была большая, и Басин дом стал пристанищем для всех, кто освободился, но еще не успел устроиться. Я сама прожила у них недели две. Моня мне понравился, маленький Миша тоже. Главой семьи, конечно, была Бася. Это была первая настоящая семья, которую я увидела за восемь лет.

Моня мне говорил:

— Много я видел чудес, но что можно пройти колымский лагерь и остаться девушкой, в это я бы не поверил ни за что.

Золото

Мы шли на покос. Остановились на отдых, варили кашу. А потом я пошла к ручью, мыть посуду. Зачерпнула миску воды, пополоסקала и вылила, а на дне миски остались крупинки золота. Это произвело на меня удивительно сильное впечатление. Золото... На что оно мне было в лагере? Но что-то магическое есть в этом песке. Золотые крупинки сбились в углу жестяной миски и поблескивали на солнце.

— Золото, золото! — кричала я. Все женщины столпились вокруг меня и глядели. Подошел Прохоров.

— Все бы такое золото было! Обманка это, — внушительно сказал он и выплеснул песок на землю. Все успокоились, занялись своими делами и забыли о золоте.

Мы пошли дальше. Прохоров впереди вел лошадь. Я как-то очутилась рядом. После долгого молчания он сказал:

— Ну, значит, ты дура. Образованная, а дура. Ну, зачем тебе золото? Живем тут, сено косим. А найдут золото, знаешь, сколько людей покалечат? Ты видела, как на прииске работают? А мужик твой не там? Не знаешь? Может, давно за это золото в шурфе лежит. Один сезон человек на золоте может отработать и — конец. Как же не дура?

— Так это было золото?

— Конечно. А что же еще?

Полина Львовна Герценберг

Некоторое время моей соседкой по нарам была доктор Полина Львовна Герценберг, польская еврейка, коммунистка, член сейма.

Доктора пользовались правом давать освобождение от работы больным. За возможность отдохнуть от тяжелой работы те, кто что-то имел, согласны были многое отдать. Некоторые врачи, принимая добротные даяния, улучшали свою жизнь. Полина Львовна была совсем непрактична: голодала она так же, как мы все, и не хотела даже выписать себе рыбий жир, который давали самым истощенным. Одетая она была в лапти и брюки четвертого срока носки, залатанные мешковиной.

Зимой 1941 года или в начале 1942 года на доске объявлений появилась выписка из русско-польского договора, согласно которому все поляки, арестованные на польской территории после 1939 года, освобождались.

Поляков действительно освободили, но отправить с Колымы до начала навигации не могли. Они не работали и могли выходить за зону, но жили по-прежнему с нами в бараках.

Вдруг лагерное начальство заволновалось: пришел приказ самолетом отправить на материк шесть членов польского сейма, в том числе и Полину Львовну. Отправлять этих шесть человек приехал главный прокурор Дальстроя. Первое распоряжение прокурора было — одеть хорошо отправляемых. Полину Львовну вызвали на склад, и начальник лагеря торжественно преподнес ей сюрприз: шелковое платье, замшевые туфли и котиковое пальто. Каково же было его удивление, когда Полина Львовна заявила, что она поедет в том, в чем ходила два года. Как ни уговаривали ее, что ей ни предлагали, она не хотела снимать свои ватные брюки с заплатами из мешковины и ватные бурки, а переодеть ее насильно уже было нельзя. В таком виде она и пошла на прощальную беседу к прокурору. Прокурор очень огорчился, увидев ее, но сделал вид, что не обращает внимания на ее наряд. Он сообщил о договоре с Польшей и закончил речь такими словами:

— Наши страны борются сейчас против общего врага — немецкого фашизма. Я надеюсь, что, вернувшись, вы никакой клеветы не будете распространять о Советском Союзе.

— Я могу дать слово, — сказала Полина Львовна, что никакой клеветы о Советском Союзе я распространять не буду. Наоборот, после победы с трибуны сейма, в печати, всюду и везде я буду говорить правду, только правду и всю правду.

Возражать было нечего, и она уехала, провожаемая мрачными взглядами начальства и нашими завистливо-восхищенными.

Труд

Помню, когда я была бригадиром полеводческой бригады, мы выращивали капусту. Капуста в тех местах спасала все лагерное население от цинги. В условиях вечной мерзлоты мы нянчились с капустой, как с ребенком: по нескольку раз в лето удобряли и подкармливали ее, укрывали дымом от заморозков, без конца поливали. Как мы радовались, когда вопреки засухе, вечной мерзлоте, вопреки июньским снегопадам на наших участках завивались белые головки! Мы были очень голодны, но никогда не позволяли себе съесть несозревшие кочаны. Мы обрывали крайние листочки и варили серые щи. Однажды я, пройдя по полю, заметила, что у целых рядов капусты нет сердечек, средних листочков, из

которых развивается кочан. Я сначала подумала, что это очередной вредитель съедает их и нужно немедленно начинать с ним борьбу. И вдруг я увидела, как одна из работниц нашей бригады, уголовница Валя, преспокойно отрывает сердечки и, как семечки, их грызет.

— Почему ты это делаешь? Ведь ты погубишь весь урожай!

Она тупо улыбнулась и ответила:

— А на кой он нам нужен? Все равно начальничек кормить будет.

Я чуть не избила ее, ярость залила мне глаза, а она невинно улыбалась. — С чего психуешь?

Труд был единственно человеческим, что нам оставалось. У нас не было семьи, не было книг, мы жили в грязи, вони, темноте, в женском бараке висела страшная ругань. Мы терпели унижения от любого надзирателя, который мог ночью войти в барак, выстроить полуодетых женщин и под предлогом обыска рыться в наших постелях, белье, читать письма, дневники. В банях нас почему-то обслуживали мужчины, и когда мы протестовали, "начальники" посмеивались и отвечали: "Снявши голову, по волосам не плачут". Труд был человекен и чист. Мы делали крестьянскую работу, которую до нас делали миллионы и миллионы женщин.

Жизнь показала, что, поборов неумение, физическую слабость, получив трудовые навыки, а главное, иначе относясь к труду, мы стали работать лучше деморализованных уголовников, хотя они в массе своей были моложе и сильнее нас и вышли в большинстве из неинтеллигентных семей, где физический труд усваивался с детства. "Раскулаченные" крестьянки, конечно, работали лучше всех, но бригадиры (бывшие кулаки) дрались за "политиков", несмотря на то, что с блатарями им было легче сговориться, а с нами надо было отказаться от любезного сердцу мата. Они знали, что мы будем работать добросовестно и систематически, уголовники же рванут за час так, что за ними не угнаться, а чуть отвернется бригадир, лягут и будут спать, пусть вянет рассада, пусть мороз побьет молодые растения.

Тяжелый крестьянский труд на природе, вдаль от конвоиров, вдаль от чужих, злых людей, оставил единственно светлые воспоминания во мраке лагерной жизни.

Бывало, уйдем мы нашим звеном в шесть человек далеко в поле. Трое косят, трое гребут. Идешь с косой по полю. Светлый простор бедной колымской земли лежит перед тобой. Чудесный аромат увядающего поля. Бледное, прозрачное небо. Мысли текут свободно, вспоминаешь все прекрасное, что было в жизни. И начинало вериться, что этот извечный труд, эти поля и небо — это настоящее, это то, что было, будет, а весь неестественный ужас того, что с нами произошло, уйдет, как уходили с Руси татарские орды.

Больно было, когда труд, в который мы вложили все, что осталось у нас человеческого, оказывался издевательским, бессмысленным трудом для наказания.

Мы долбили в мерзлой почве канавы для спуска талых вод.

Работали на пятидесятиградусном морозе, тяжелыми кайлами. Старались выработать норму. Если за ночь снег заносил неоконченную канаву, мы ее очищали и углубляли точно до нормы. Вероятно, никто не заметил бы недоделанных десяти — пятнадцати сантиметров, но это был вопрос чести — ведь вода с полей пойдет не так, как надо.

Это был очень тяжелый труд. Земля — как цемент. Дыхание застывает в воздухе. Плечи и поясница болят от напряжения. Но мы работали и важно рассуждали, что иначе, как тяжелым трудом, кровавыми мозолями, отмороженными ногами, не одолеешь колымскую землю.

Уголовники ругали нас последними словами, потому что мы доказали, что можно сделать в десять раз больше, чем делали они. А весной, когда земля оттаяла, пустили трактор с канавокопателем, и он в час провел канаву такую же, как звено в шесть человек копало два месяца.

— Почему же все канавы не копать так? — наивно спросила я у десятника.

— А вы что будете делать? На боку лежать и поправляться? Нет, милая, в лагерь вас привезли работать!

Мне стало необыкновенно стыдно за возвышенные мысли и речи. Боже, какой позор!

Нас наказывали бессмысленным трудом, а мы выполняли наказание с энтузиазмом! Какие рабы! Я поклялась больше не вкладывать в труд души и обманывать лагерь, где смогу. Мне это не удалось, я не смогла переделать свою природу и работать "по-блатному", но энтузиазма поубавилось.

И все-таки труд нас спасал. Среди "политиков" была категория людей, отказывавшихся от труда. Многие женщины боялись тяжелого труда. Одни находили у себя сотни болезней и предпочитали получать пониженную норму питания, но не надрываться на работе, другие (гораздо реже) шли на сближение с начальниками, и те устраивали их на легкую, блатную работу. Почти все уклонявшиеся от работы погибли. Те, кто шел на проституцию, потеряли внутренний стержень, упорство, собранность, гордость. При первой же неудаче, попадая на общие работы, они погибали под их тяжестью. Те, кто не работал, ссылаясь на отсутствие сил и болезни, погибали от голода, а также от духовного расстройства, вызванного отсутствием могучего отвлечения — труда, требовавшего напряжения всех физических и духовных сил. Бывали случаи, что погибали и те, кто работал, но гораздо реже. Так было у женщин,

У мужчин же за один-два золотопромывочных сезона самый здоровый мужчина превращался в инвалида.

Мужчины, естественно, не могли любить труд, который их убивал, и с ужасом говорили о приисках.

"Чертово колесо"

Маленький лагпункт, который мы прозвали "Чертово колесо", состоял из двух рабочих палаток, домика, где жила охрана, и палатки бригадира. Население "Чертова колеса" — сорок пять человек. Сорок заключенных женщин, из которых тридцать три жили в рабочей, "политической" палатке, а семь — в палатке, получившей название "веселой".

В нашей рабочей палатке были нары. Собственного имущества не было почти ни у кого, постели укрывались солдатскими одеялами, подушки были набиты соломой. Днем там никто не оставался, кроме старушки дневальной, топившей печи.

Вечерами рано ложились спать, измученные тяжелым трудом. Иногда попадала в барак книга и кто-нибудь вслух читал при свете самодельной коптилки.

Собирались на нарах группами и тихо разговаривали, чтобы не мешать спать измученным женщинам.

Совсем другая картина была в "веселой" палатке. Там стояло семь деревянных кроватей, покрытых розовыми, голубыми, цветастыми одеялами. Подушки с вышитыми наволочками. На наволочках изображены красивые, с глазами в пол-лица, девицы, голубки, цветы и вышиты надписи, вроде "Приснись мне, милый, люблю, нет силы" или "Днем и ночью без тебя нет мочи". Над постелями висели самодельные коврики из мешков с вышитыми кошками, лебедями, цветами, японками. На столе стоял предмет нашей зависти — настоящая керосиновая лампа со стеклом. Девицы из "веселой палатки" работали отдельно от нас и приходили с работы гораздо раньше, часа в два-три. Кроме того, они часто болели и получали разрешение не выходить на работу. В этой палатке веселились далеко за полночь. Визжала гармонь, визжали пьяные голоса девиц, хрипели мужские.

Организатором веселья был бригадир, Сашка Соколов, одесский жулик, хитрый и ловкий, как черт. Он завел довольно выгодное предприятие, принимал гостей с соседних приисков, угощал их спиртом, приятной беседой, обществом девиц. С нами Сашка тоже неплохо ладил, ему надо было, чтобы мы не жаловались и работали. Чтобы мы не жаловались, он организовал нечто вроде карантина: в течение года, пока мы там пробыли, нас не выпускали из поселка, к нам никто не приезжал из начальства. Работать мы были вынуждены, потому что иначе нас не кормили. В остальном Сашка нам не надоедал, и мы даже отчасти любили его, потому что он ни во что не вмешивался и не воровал у нас продукты. Ему не надо было воровать. Человек коммерческий, он умел получать солидные

доходы от гостей, посещавших "веселую палатку".

Формально расселялись по статьям: бытовые — в "веселой палатке", политические — в рабочей. Однако в нашей политической палатке было несколько крестьянок-старух с бытовыми статьями, против чего Сашка не возражал. Зачем ему были эти старухи? Но однажды к нам, на которых я спала, подошла молодая девушка Алла Швандер и довольно вежливо попросила: "Возьмите меня к себе, я не хочу в ту палатку". Мы ее пустили. Это была рослая, красивая девушка двадцати лет, с хорошей речью. Попала она в лагерь, как наводчица шайки жуликов. Ее родители, интеллигентные люди, не заметили, как семнадцатилетняя Алла подружилась на катке с каким-то молодым человеком, сошлась с ним, а он оказался главарем шайки. Алла была добрая девушка, но с очень слабой волей, внушаемая. Она сама знала этот свой недостаток и наивно просила нас: "Мне осталось сидеть один год (срок у нас был три года), не отпускайте меня в ту палатку, а то я испорчусь".

Мы взяли Аллу под свое покровительство. Сашка несколько раз за ней приходил, требуя ее переселения в "веселую палатку", но мы поднимали такой крик, что он только уши зажимал и как будто уступал нам.

Алла работала с нами, очень любила слушать чтение или рассказы и мечтала, что кончит срок, выйдет замуж и станет "порядочная".

Вскоре нашелся и жених — плотник Костя, с соседней лесопилки, хороший парень, глядевший на Аллу обожающими глазами. Он приходил к нам в палатку, как настоящий жених, приносил угощение "тещам", как он называл меня и Раю, и целыми часами мог простаивать с Аллой на пятидесятиградусном морозе, обнявшись и укрыв ее своим тулупом. Он собирался ждать ее год, а потом жениться. Это была молодая любовь, так удивительно расцветшая в грязи лагерной жизни. Он восхищался Аллой, ее красотой, ее образованностью. Сам он был простой рабочий паренек из Сибири. Алла купалась в волнах его обожания, он ей нравился честностью, прямоотой, силой.

Мы с наслаждением наблюдали за развитием этого романа и всячески ему покровительствовали. Сашка тоже знал о Косте и тоже, казалось, не собирался обижать молодую пару.

Однажды он послал Аллу отвезти дрова в лесную избушку.

"Там тебя Константин ждет", — шепнул он Алле, и она помчалась на неожиданное свидание на розвальнях, розовая, статная, туго подпоясанная, с сияющими глазами, удалым гиканьем подгоняя лошадей.

Поехала и не вернулась к вечерней поверке.

Это было серьезным нарушением дисциплины, могущим повлечь за собой крупные неприятности.

Не вернулась Алла и через два дня.

А на третий день вечером она вошла в барак измученная, с землистым лицом, с блуждающим взглядом, повалилась на койку и завывала от боли, горя, обиды.

...Она ехала на свидание с Костей. Издали увидела, что в избушке топится печь. Значит, он ждет. Радостно открыла дверь и попала в лапы к шести бандитам, поджидавшим ее.

Это устроил Сашка.

Он получил от этих бандитов тысячу рублей.

Все были потрясены. Мы строили неосуществимые планы отмщения за Аллу. Мы проклинали Сашку.

В барак вошел начальник охраны.

— Где ты была три дня?

— Спросите Сашку, — начала Алла.

— Я оформлю твое безобразное поведение как побег, — заявил начальник и уселся писать протокол.

Мы начали объяснять, но он закричал на нас и пригрозил оформить нас как

соучастников побега.

Протокол о побеге обеспечивал дополнительный срок в три года, сообщничество — тоже. Мы замолчали. Алла плакала, а мы чувствовали себя как оплеванные, что не сумели за нее заступиться.

Назавтра Сашка увел Аллу к себе и сказал, что замнет дело, если она согласится перейти в "веселую палатку". Где ей, бедняге, было спорить? Она чувствовала себя в его власти, боялась срока, понимала, что с Костей все кончено. Угрюмо она вошла к нам в палатку и собрала вещи. Я робко к ней обратилась и в ответ услышала страшный мат.

Неожиданно дня через три после этого происшествия меня вызвали в Эльген, где было все лагерное начальство и можно было найти управу на Сашку.

Меня вызвали по поводу письма моей матери, которая, оказывается, год не получала от меня писем. Мать писала на имя начальника лагерей, толстой, полуграмотной бабы, вздорной, но иногда добродушной, если на нее находил подходящий стих.

Толстуха в военной форме, с оплывшим лицом, сидела в кабинете, куда я попала впервые.

— Ты что же матери не пишешь? Совести совсем нет?

— Я пишу, гражданин начальник, значит, не отправляют.

— Да, у нас тоже сволочей много. Ну, ты напиши и отдай мне, я отправлю.

Такое начало меня ободрило, и я решилась.

— Гражданин начальник, я расскажу вам нечто, из-за чего, если узнает наш бригадир Сашка, я безусловно погибну. Если вы не захотите вмешаться в это дело, ради Бога, не говорите ему о том, что я вам передала.

Мне было страшно. Ведь ему ничего не стоило сделать со мной то же, что с Аллой, просто убить.

Я рассказала ей историю Аллы.

— Ах, сволочи, ах, мерзавцы! Это он с начальником охраны работает. А что, в пьянках начальник охраны участвует?

— Участвует.

— Ну, ты иди и молчи, я с ним расправлюсь.

Она с ним не расправилась, и все осталось по-прежнему. К чести ее надо сказать, что о моем доносе Сашка не узнал. Однако я долго не спала по ночам, ругая себя за донкихотство и представляя себе, что сделает со мной Сашка, если узнает.

Алла жила в "веселой палатке" и стала самой беспутной из ее обитательниц. Пила она страшно, материлась с утра до вечера. К нам она совсем не приходила и смотрела на нас с какой-то злобой и презрением.

Через год она вышла на волю, а еще через восемь месяцев попала с бандой на мокром деле — они убили и ограбили целую семью.

Отношение Сашки к нам было довольно сложно: он не решался входить к нам в белье, как входил в палатку к своим девицам, не решался ругать нас и даже обращался к нам на "вы". Мы его очень интересовали, так как впервые в жизни он столкнулся с интеллигентными и порядочными женщинами. Его раздражала наша непрактичность. Вспоминаю такой случай: нам не давали аммонала, и мы долбили канавы кайлами вручную. К одной из наших женщин воспылал любовью подрывник из бригады дорожников. Он предлагал подорвать наши канавы, и нам осталось бы только выбросить грунт. Но, не получив ответа на свою любовь, подрывник ушел от нас обиженный. Разъяренный Сашка ворвался в нашу палатку и, узнав, как обстоит дело, махнул рукой и горько произнес: "С вами социализма не построишь".

Он иногда заводил с нами разговоры и очень радовался, когда ловил нас на незнании каких-нибудь простых, с его точки зрения, вещей. Ему очень хотелось доказать нам, что он хотя в университетах не обучался, а поумнее других образованных. (Он действительно в практической жизни, во взаимоотношениях с людьми разбирался получше нашего.) Но еще больше радовался он, когда мог унижить нас и доказать, что мы хотя политики, а тоже не

лучше ихнего брата и от сладкого куска не откажемся. Он очень хотел вовлечь наших женщин в ночные кутежи и приглашал то одну, то другую "повеселиться", но неизменно получал отказ.

Была среди нас красивая казачка, Аня Орлова. В свои сорок два года она сохранила статность, горячий взгляд черных глаз, низкий виолончельный голос. Она была помощником бригадира.

Несмотря на физическую силу, ловкость и привычку к деревенской работе, Аня очень ценила свое положение, позволявшее ей не работать по десять часов в день на жестоком колымском морозе, не надрываться с пудовыми кайлами. Сашка сыграл на этой струнке. Сначала Аня вскользь, как бы не придавая этому значения, рассказала нам, что Сашка просит ее как-нибудь вечерком спеть украинские песни.

Она смотрела на нас и встречала уклончиво-осуждающие взгляды. Потом она однажды сказала: "Скука какая, пойти хоть к Сашке, баян послушать..." Опять молчание.

И вот, когда Сашка ей поставил ультиматум или "не гнушаться компанией, или со всеми идти на работу", она решила вечером пойти в "веселую палатку". Мы увидели, как она нарочито спокойно надела свой единственный парадный наряд — вышитую украинскую кофточку, подмазала губы, накинула на плечи белую шаль и пошла между нарами, сквозь строй осуждающих глаз. Потом мы слышали баян, низкий грудной Анин голос, поющий украинские песни, гул одобрения, аплодисменты и снова Анин голос.

Аня вернулась под утро, а назавтра Сашка нахально похлопывал ее по плечу, говоря, что Аня — баба своя в доску, а вы все вшивая интеллигенция и черные монашки.

Аня ходила с вызывающим видом, будто ей море по колено. Но время от времени бросала фразы вроде: "Что ж, так и погибать в этом монастыре? Какие-никакие, а все-таки люди, песни..."

Все молчали.

А через три дня Сашка ходил около нашей палатки и утешал своего друга, знаменитого жулика Володю:

— Володечка, ты не волнуйся, я тебе какую хочешь девушку представлю.

А Володя томным капризным голосом отвечал:

— Нет, ты меня обманул. Обещал девушку, а утром проснулся — а со мной старая баба, и еще об себе понимает.

— Володечка, ты не расстраивайся, мы с этой интеллигенцией по ночам будем спать (он выразился красочнее), а днем будем их гонять на работу. А не нравится, я тебе сегодня двадцатилетнюю представлю.

Сашка был счастлив. Он фиглярничал, хохотал и снова повторял:

— Будем с ними по ночам спать, а днем на работу гонять!

Надо отдать ему должное, он не снял Аню с бригадирства, только не мог отказать себе в удовольствии при всех похлопывать ее по плечу и ободрять: "Ты не тушуйся, он дурак, Володька, в бабах ничего не понимает. Ты еще бабочка в самый раз..."

Аня больше не ходила в "веселую палатку", да и Сашка не настаивал. Его цель была достигнута. В лице Ани он унизил всю "интеллигенцию" и был очень доволен.

В "Чертовом колесе" я впервые познакомилась с религиозницами. К нам привезли пять женщин, арестованных за отказ работать в колхозе по праздникам. Хотя они были молодые, Сашка хорошо понимал, что "веселой палатке" они не подходят. Они называли друг друга сестрами, вместе спали, ели, работали, молились и почти каждое воскресенье или церковный праздник вместе сидели в карцере. Дело в том, что нам давали три выходных в месяц, так что одно воскресенье мы должны были работать. Кроме того, если рабочие дни были активированы из-за непогоды (мороз ниже 50 градусов, метель), нам эти дни считали за выходные, и тогда не одно, а два-три воскресенья мы работали. Религиозницы отказывались работать, и их сажали в карцер. Они спокойно собирались в карцер, хотя хорошего там было мало: зимой печку почти не топили, летом — в разбитое окно влетали тучи комаров.

Между тем религиозницы работали лучше всех, ведь они были привычны к

крестьянскому труду. Мы, как ни старались, не могли в работе их нагнать.

Одна из религиозниц, Граня, иногда получала посылки от мужа, который отбывал срок за тысячу километров от нас, на конюшне и скоро должен был освободиться. Граню арестовали через полгода после него, и она соответственно ждала окончания срока на несколько месяцев позже.

Однажды к нам вошел Сашка и сообщил, что завтра, в воскресенье, рабочий день. Потом сказал Гране:

— Муж твой копченую рыбу тебе прислал. Выходите на работу, хотя бы ничего не делаете. Отдам посылку. Не выйдете — не обижайтесь, не отдам.

— Воля ваша, — сказала Граня. — Мы на работу не выйдем.

Сестры ее горячо поддержали. А как им хотелось поесть этой копченой рыбы! Ведь мы были такие голодные!

Однажды к нам прибежали подружки-блатнячки — Сонька, Сашкина баба, и Любка, которая жила с начальником охраны. Они всегда знали все новости. А сегодня новости были немалые.

Во-первых, следующее воскресенье — день пасхи — мы не работаем, выходной день. А главное, мужу Грани Ивану, уже освободившемуся, разрешили свидание с женой. Он приедет к нам в воскресенье часов в 12 (в 11 приходил автобус на ближайшую станцию, откуда ходу пешком до нашего лагпункта было около часу. В 4 часа он должен был уйти, потому что в 5 будет обратный автобус).

Назавтра уже с половины двенадцатого мы все собрались у ворот в зону. Любка и Сонька, для которых не было запрета, бегали из зоны, сторожили приход Ивана.

Наконец, Сонька прибежала с криком "Идет!". Мы боялись пропустить хоть мгновение этой встречи, выражения лиц Грани, Ивана.

На дороге показался мужчина. Одет он был с лагерной точки зрения очень хорошо: высокие сапоги, начищенные до блеска, голубая ситцевая новая рубашка... Бородка подстрижена. Щеки выбриты.

Граня хотела побежать к нему навстречу, но покачнулась. Две сестры ее подхватили под руки. Она была бледна, только глаза горели. Не доходя шагов десять до нее, Иван встал на колени и поклонился ей до земли.

Граня тоже встала на колени и земно ему поклонилась. Потом он подошел, поднял ее, и они похристосовались. С сестрами Иван тоже похристосовался и передал им подарки: по ситцевому платку и крашеному яйцу. Потом отдал узелок с гостинцами, там была копченая рыба, кусок свинины, кулич и даже творожная пасха, и велел готовить обед.

Нам он поклонился. Подошел к Сашке, отдал ему что-то, и Сашка сказал: "Конечно, конечно, забирайте жену и идите гулять в лес".

Иван взял Граню за руку, и они ушли за зону.

Сонька и Любка побежали за ними посмотреть, что они будут делать. Сонька вернулась очень изумленная; они сидели на пеньках на опушке леса и разговаривали.

— Вы подумайте, — говорила Сонька, — пять лет не виделись и сидят на пеньках, разговаривают. Да меня бы Сашка живьем слопал! А эти разговаривают! Он ей рассказывал, что строит избу, к ее освобождению изба будет готова.

Через минут пятнадцать появилась Любка.

— Все разговаривают! Он говорит, начальник обещал сыновей выписать! Еще про лошадей рассказывал, что лошади исправились, больше не падают, даже некоторые ожеребились.

Одним словом, мы были в курсе поведения и разговоров Грани и Ивана.

Около трех часов их позвали обедать. Мы все вышли из барака, чтобы им не мешать. Стол был накрыт роскошно, запах вареной свинины, копченой рыбы нам кружил головы.

Но они еще не скоро сели за стол. Они долго молились и пели "Христос воскрес из мертвых". Потом обедали, смеялись, разговаривали.

В 4 часа Иван ушел.

Граня потом мне рассказывала, как Иван попал на работу в конюшню. Там провалилась крыша, лил дождь, лошади болели, падали. Блатари, работавшие в конюшне (работа привилегированная, в тепле), совершенно не умели и не хотели ухаживать за лошадьми. Сено у них наполовину сгнило, даже воды ленились принести из речки достаточно. Лошади еле стояли на ногах. Навоз вовремя не убирала. Овес, который выписывался жеребым лошадям, блатари у лошадей воровали и варили себе овсяный кисель.

Начался падеж, заговорили о вредительстве. Начальник, который тоже в лошадях мало понимал, — испугался. Единственное, что он сделал, — снял с золота плотников и послал их починить крышу на конюшне. Так Иван попал на работу в конюшню. Он увидел, как измываются над лошадьми.

Однажды, когда начальник прииска приехал посмотреть, как идет работа, он зашел на конюшню и увидел Ивана, который расчищал нагноившуюся ногу молодой лошадке. Ей было больно, она вся дрожала, а Иван нежно говорил ей:

— Ну стой смирно, дурочка, тебе же легче будет. Он смазал ногу йодом, завязал какой-то тряпкой, гладил лошади морду и все уговаривал ее:

— Ну что, полегче?

Начальник подошел к нему.

— Ты любишь лошадей? — спросил.

— Да как же их не жалеть, ведь голодные, даже воды в досталь не дают.

— Хочешь остаться конюхом?

— Хочу.

Одним словом, Иван стал старшим конюхом, сено он нашел — не вывезенная и покрытая снегом копенка. Починили крышу, вычистили навоз, поили досыта, по возможности кормили. Лошади ожили, а начальник ухватился за Ивана и делал все, чтобы он не ушел, освободившись, из его конюшни.

Избу Иван поставил сам. Когда Граня освободилась, он за ней приехал.

Она стала тоже работать на конюшне. Сыновья, которым было уже 14 и 15 лет, приехали, поступили в школу-интернат.

Через год Граня родила двойняшек-девочек.

Это был редчайший случай благополучной жизни на Колыме. И мне такую радость доставляли Гранины коротенькие письма о ее семье, детях, муже и лошадях, которых она от души любила.

Ненависть

В 1942 году я отморозила ноги. Меня поместили в барак "слабых". Нас, по существу, надо было класть в больницу и лечить, но мы были рады и тому, что не гонят на работу, кое-как кормят и топят печи. Большинство лежавших в бараке находились в той или иной стадии дистрофии, поэтому по целым дням разговор шел о том, как печь пироги, какие соусы можно готовить для индейки, как вкусна гречневая каша. С помощью соседки по нарам Мирры Кизельштейн, доброй души, я кое-как восстанавливала свои ноги, от которых мне уже собирались отрезать пальцы и пятки. Мирра делала мне марганцевые ванны, смазывала ноги рыбьим жиром, и я постепенно выкарабкалась. Мы прожили таким образом две недели, когда привезли новую партию больных с шестого километра. У нас давно ходили страшные слухи об этой командировке. Бригадиром у них была некая Лиза Кешве. Я встречалась с ней на пересылке. Это была седая сорокалетняя женщина с наглыми, развратными глазами. Однажды у нас с ней завязался литературный спор. Лиза была литературоведом, и голова ее была набита множеством литературных сведений, дат, имен. Я сказала, что за час разговора с Роменом Ролланом с радостью заплатила бы лишним годом тюрьмы. Я так мечтала доверить все пережитое большому писателю, чтобы он донес до людей то, что похоронено было в тюремных стенах, что рвалось из души, то, что надо было рассказать людям. Я с благоговением называла имена писателей, которые были совестью мира. Толстой, Чехов,

Вересаев, Гаршин, Короленко и единственный из живших тогда, который достойно стоял в этой плеяде, — Ромен Роллан. Лиза в ответ назвала меня сентиментальной и начала рассказывать о ханжестве Льва Толстого, развращенности Маяковского, денежной нечестности Некрасова. По ее мнению, моральный уклад писателя и характер его творчества не зависят друг от друга, и плохой человек, даже глупый человек может быть великолепным писателем.

Я не знаю, зачем мне была бы литература, если бы через нее я не общалась с душой тонкой и доброй, с умом, помогающим мне осмысливать жизнь. Лиза же любила литературу, как любят ювелирные вещи, изящное решение шахматных задач, сборник интересных анекдотов. Словом, мы не сошлись.

Лагерная жизнь тоже развела нас: я стала чернорабочей, а Лиза — бригадиром и полной хозяйкой небольшой командировки, где тридцать женщин заготавливали лес. Оставшихся в живых женщин (многие умерли) привезли в барак для слабых, и они рассказывали мне страшные вещи о Лизе, этой любительнице изящной словесности.

Лиза сошлась с командиром охраны, тупым и наглым мужиком, вместе с ним пьянствовала, обворовывая несчастных женщин, попавших в их власть. Страшные вещи творились на этой командировке: Лиза принуждала молодых девушек отдаваться ее любовнику и другим охранникам. Оргии устраивались в помещении охраны. Комната там была одна, и дикий разврат, ко всему прочему, происходил публично, под звериный хохот компания. Жрали и пили за счет заключенных женщин, у которых воровали по половине пайка. Голодали там страшно, при малейшей попытке сопротивляться или подать жалобу избивали до полусмерти. Отказывавшихся идти на работу голодными привязывали к волокушам и тащили по снегу в лес. Я помню расширенные от ужаса глаза Маши Мино — одной из жертв Лизы. Она мне рассказывала шепотом, поминутно оглядываясь, боясь, как бы кто не передал ее рассказ Лизе. "Я ей говорю, нет у меня сил идти на работу, я голодная, хлеба хочу, понимаете?" А она, полупьяная, с седыми растрепанными волосами, красная, наглая, уперлась в бока и говорит: "Хлеба хочешь? А я мальчика хочу, а нет — надо терпеть!" И хохочет: "Мальчика хочу, понимаешь?"

Наконец, несмотря на побои и насилия, люди перестали работать. Они не вставали с нар и молча умирали. Лес с командировки перестал поступать. Послали комиссию. Люди были в таком состоянии, что их пришлось поместить в барак для слабых и освободить от работы на всю зиму. Командир получил срок в три года за смертность, а Лиза попала на общие работы.

В бараке для слабых я подружилась с тремя женщинами.

Первая — Мирра Кизельштейн. Она была биологом, дочерью врача и очень интересовалась медициной. В нашем бараке для слабых она всех лечила самыми примитивными средствами, и это поднимало людей на ноги. Ведь все были молодые, организм, здоровый, только измученный голодом и непосильной работой, быстро отзывался на любую помощь и просто отдых. Например, больным желудком она давала пить марганцовку, и это, как ни странно, помогало. Мне она лечила ноги, кому-то делала массаж. Мы ее звали "наш доктор".

Вторая моя приятельница, Нина Гаген-Торн, была из очень культурной семьи. В их доме бывал Блок. В бараке Нина писала повесть о своем детстве "Лебединая песня" и читала ее мне.

После реабилитации она стала известным этнографом, жила в Ленинграде. Мы с ней не встречались.

Третья — Маша Мино. Ее мать была незаконной дочерью знаменитого Петипа. Петипа всегда заботился о дочери, дал ей образование. Когда Маше было лет шестнадцать, Петипа с балетной труппой приехал на гастроли в Сибирь, где жила семья Маши. Маша увидела очаровательного, блестящего танцора и влюбилась в него. Оказалось, что это ее дед. "Такой первой любви, как у меня, ни у кого не было", — смеялась Маша.

Маша до революции вступила в партию большевиков. Помню, рассказывала, как они

отпечатали в типографии разрешенную цензурой верноподданническую книгу о помазаннике божьем Николае II, где были приведены (со ссылками на газетные публикации) отрывки из многих его выступлений. Все они кончались одинаково: "Так выпьем, господа".

Маша была арестована в 1930 году за резкое выступление против раскулачивания. У нее на воле оставались в ту пору отец и четверо детей. Жили они в собственном доме под Москвой, в Ильинском, где отец работал врачом — до революции земским. В 1956 году, через четверть века, Маша вернулась в Москву. Отца уже не было. Сыновья встретили ее горячо, любовно. Душевного контакта, однако, не получилось — слишком различен был круг их жизненных интересов.

Маша получала какую-то крохотную пенсию, потому что после лагеря, в ссылке, жила и работала в колхозе. Однажды к сыновьям пришел товарищ с завода, член парткома. Узнав о прошлом Маши, он начал уговаривать ее восстановиться в партии: "Вы, как член нашей партии с 16-го года, получите пенсию союзного значения и многие льготы". Маша помолчала, а потом ответила: "Нет, я была не в вашей партии, я была совсем в другой".

Я поправилась и, выходя на работу, с тяжелым сердцем просталась с бедными дистрофиками.

Меня и Мирру послали на легкую работу — кайлить и разбрасывать в поле торф. Работа действительно была не очень тяжелая, но холода в это время стояли 48–50 градусов, а работали мы по десять часов в день. Правда, посредине участка стояла теплушка, куда мы раза три в день, забегали на десять минут погреться.

Первый человек, которого я встретила на разводе, была Лиза. Она радостно приветствовала меня:

— А, мой литературный противник! Давайте работать на пару, хоть поговорим о чем-нибудь отличном от хлеба и выполнения нормы! Не единым хлебом жив человек, не правда ли?

Я с ужасом глядела на спокойно-наглое лицо Лизы, а в ушах у меня звучали слова прощания с бедными моими дистрофиками, умирающими в бараке для слабых.

Я ничего не сказала о них Лизе. Вы спросите, почему? Я боялась, самым подлым образом боялась ее и не хотела иметь в ее лице врага. Я понимала, что падение ее — вещь временная и она себя еще покажет. Единственное, на что у меня хватило гражданского мужества, это пробормотать, что моя напарница Мирра. Мы встали на участок, наиболее удаленный от Лизы, и греться в теплушку ходили, когда Лиза оттуда уходила. Таким образом, мы с ней никогда не встречались.

Однажды я пошла греться в теплушку, села, протянула к огню отмороженные ноги и стала пить кипяток, наслаждаясь теплом и отдыхом. Вдруг дверь широко распахнулась, покачиваясь, вошла Лиза, сделала несколько шагов и со стоном упала на пол. У нее был сердечный приступ. Я съежилась, но не двинулась с места. Лиза задыхалась и что-то хотела мне сказать, но не могла. В раскрытую дверь врвался пятидесятиградусный мороз. Я встала, чтобы закрыть дверь, и сделала шаг по направлению к Лизе. Она подумала, что я иду ей помогать, и прокричала: "Воды!" Но я закрыла дверь и вернулась на свое место у печки. Я не хотела ей помогать. Я не могла к ней прикоснуться, как не могла бы прикоснуться к крысе, попавшей в мышеловку. Я сидела, как окаменевшая, у печки, а Лиза задыхалась и билась головой об пол. В душе у меня бушевала ненависть к ней, я хотела, чтобы она умерла.

Открылась дверь, и вошла Мирра. Она бросилась к Лизе и начала расстегивать на ней одежду и развязывать платок, закрывающий лицо.

— Ольга, идите, помогите мне перенести ее на скамью.

— Не пойду.

— Вы с ума сошли, человек умирает!

— Пусть умирает, я не буду за ней ухаживать.

У Лизы было перекошено лицо, один глаз сильно расширился. Она с ужасом смотрела на меня.

— Тише, — закричала Мирра, — она слышит, понимает, вы сошли с ума!

— Пусть слышит. Почему она должна умереть хорошо? Пусть мучается.

Мирра была вне себя. Ее душа возмущалась. Я сидела у печи и сама поражалась силе ненависти, заливавшей мне сердце.

— Я расскажу о вашем поведении! Человек умирает. Сейчас же помогите мне ее поднять! — кричала Мирра.

— Я не прикаснусь к ней. Пусть умирает, — сказала я, перешагнула через Лизины ноги и вышла из теплушки.

Лиза не умерла. Мирра с возмущением рассказывала о моем поведении, но, несмотря на это, мы с ней остались друзьями. Некоторые осуждали меня, другие хвалили, а мне было тяжело.

Мне было тяжело, и я ненавидела лютой ненавистью тех, кто довел меня до того, что я не подала умирающему воды, а острее всех ненавидела я Лизу, потому что из всех, кого я встречала на лагерном пути, она была самой подлой.

Мираж

*Сталь закаляют, разогревая ее докрасна
и потом опуская в ледяную воду.*

Многие просили о пересмотре дела, писали заявления на имя прокурора СССР и письма Сталину.

Я не писала ни разу не из гордости, а потому, что была глубоко убеждена, что из этого ничего не выйдет.

И еще одно: я поняла, что выдержать смогу, только стиснув зубы, не расслабляя души несбыточными мечтами.

Но мать моя жила надеждой. Она, как на службу, в течение первых четырех лет после моего ареста каждый день ходила "хлопотать". Начиная от прокурора СССР и до приемных Калинина и Пешковой, не было учреждения, где она не сидела бы в бесконечных очередях, не просила бы о пересмотре моего дела, не плакала бы, пытаясь тронуть сердца невероятным для нее фактом, что ее дочь, мать двоих детей, ни за что ни про что сидит в тюрьме. Она и мне писала, что хлопочет, успокаивала меня обещаниями разных высоких людей, но я не придавала ни малейшего значения ее надеждам, считала, хорошо, что она что-то делает, это ее утешает, а толку никакого не выйдет.

И вот каких только чудес не бывает! Она добилась пересмотра моего дела!

Так как дело было состряпано уж очень небрежно, а главное, было какое-то временное ослабление режима, дело было пересмотрено, и 3 июня 1940 года я была полностью реабилитирована в обвинении террора против Кагановича.

Лето 1940 года мы жили на Птичьем острове, расположенном на слиянии двух горных рек. На этом острове был большой лес, который мы рубили, и очень много плавника, который надо было разобрать и связать в плоты. Бригадир у нас был хороший, раскулаченный сибиряк Саша, на берегу стояли большие, никем не учтенные штабеля плавника, и всегда можно было показать, что их сложили мы. Так что работали спокойно, Саша нас не притеснял, и показатели всегда были хорошие, что обеспечивало нам первую категорию питания. Кроме того, мужчины, вязавшие плоты, такие же, как Саша, раскулаченные сибиряки, ловили рыбу и угощали нас, да и птичьих гнезд на острове было много, и часто мы находили утиные яйца. За весь мой срок это было самое легкое лето.

Однажды утром приехал из Эльгена завхоз и привез почту. Мне была телеграмма: "3 июня 1940 г. постановлением Верховного суда СССР за номером таким-то ты полностью реабилитирована. Счастливы". Подписи всей семьи.

И тут началось! Я ходила как пьяная от мечтаний. Я мысленно ласкала детей, мать, отца и рассказывала им все, что пережила, я представляла себе свое возвращение во всех деталях, начиная со встречи на Казанском вокзале и до той блаженной минуты, когда я

положу голову на мамины колени.

Начали поступать письма. Мама подробно рассказывала мне, как она хлопотала, как все ее отговаривали и даже пугали, что вышлют из Москвы, а она не обращала внимания и добилась правды. Как в день пересмотра она с раннего утра и до пяти часов вечера сидела под дождем на улице у здания суда, а потом вышел какой-то человек в форме МГБ и сказал ей:

"Ну, мать, поздравляю, освободили вашу дочку". И у этого человека на глазах были слезы.

Мама писала мне, что все время скрывала от детей, что я арестована, говорила, будто я в командировке, а теперь все рассказала, ведь мальчику уже 10 лет, а девочке 8 и они могут понять.

Но время шло, а мне никто не сообщал о пересмотре дела. Прошло лето, наступила зима.

Как сон, кончилась легкая жизнь на Птичьем острове. Нас перевели на рытье канав. Свирепствовала колымская зима с пятидесятиградусными морозами.

И вот однажды на канаву, где мы работали, пришла бригадир Аня Орлова и остановилась около меня. Она долго молчала, а потом сказала:

— Крепись, Ольга! — и протянула мне телеграмму. Там было написано: "Прокурор СССР опротестовал решение Верховного суда, при вторичном рассмотрении дела ты осуждена на 8 лет лишения свободы за недонесение на мужа (ст.58, п. 12). Мужайся. Мама".

Я молча передала телеграмму своим. Ее читали, и никто ничего не говорил.

Аня участливо на меня глядела.

— Ты бы пошла в барак, полежала.

— Нет, не хочу. — Я принялась колотить кайлом. Остаться сейчас одной в бараке, в бездействии, было невыносимо.

Ночью, накрывшись с головой, я повторяла, как заклинание: "Выдержу. Еще три года и четыре месяца. Выдержу. Сорок месяцев. Выдержу. Даю тебе слово, мама, Ты меня дождешься. Выдержу".

А потом приходили письма, посланные раньше телеграммы, и в них мама писала, как добились правды, как ждут меня дети, как все счастливы.

Нет, человек крепче стали.

Что сталь!

Дойти, доползти, довлачиться,
уткнуться в родные колени.
Уткнуться в родные колени и плакать.
Иль, может, молиться?
Одна мне отрада на свете,
боли моей утоление —
уткнувшись в твои колени,
плакать, как плачут дети.
Не имут мертвые сраму,
погибшей — одно утешенье —
священное имя Мама
шептать у твоих коленей!

Доходяга

Зима 1943 года была очень трудной. Хлебный паек уменьшили с 600 до 500 граммов. А так как кроме хлеба нам давали щи из черной капусты с селедочными головками (на поллитровый колпак щей приходилось два-три листика, а селедки одна головка) да три

столовые ложки разваренной в кисель каши с половиной чайной ложки постного масла, на ужин — хвост селедки величиной с палец, а работали мы по десять часов на пятидесятиградусном морозе, люди начали "доходить".

Сначала я работала с Галей Прозоровской, но после того, как она упала в лесу, ее перевели на работу в починочную мастерскую.

Потом моей напарницей была Рая Гинзбург. Работали мы с ней дружно, хотя ходили еле-еле — она покрывалась нарывами, а у меня каждая нога весила пуд, и я ходила, как-то подгибая колени, которые стали будто из ваты. Так мы дотянули до марта, а в марте сформировался этап на агробазу в Эльген. Там начинались весенние работы, надо было очищать территорию агробазы от снега, подготавливать в теплицах рассаду. Наш бригадир, конечно, постарался отослать наиболее слабых, Рая попала в этот этап, и я осталась одна.

Вырваться с лесоповала, конечно, было большим счастьем, в Эльгене все-таки было легче, ходить не в лес, а на обжитую агробазу, с местами для обогрева, хоть раз в месяц можно было достать буханку хлеба за пятьдесят рублей (мы зарабатывали в месяц рублей по пятьдесят). Но Рая очень не хотела уходить без меня. Мы полюбили друг друга, а расставшись, можно было никогда не встретиться, ведь каких-нибудь двадцать километров для нас были также непреодолимы, как расстояние от Москвы до Нью-Йорка в обыкновенной жизни.

Она собиралась в этап и оставляла мне в наследство бедное свое хозяйство: я пересыпала из ее матраца в свой остатки сена, стало немного помягче спать; оставила мне свою коптилку (в Эльгене было электричество), оставила мне нож — предстоял обыск, и нож все равно пришлось бы бросить.

Раньше я считалась сильной и со мной многие хотели работать на пару, но тут почти все мои друзья ушли в этап, некоторые пары не разъединили, а оставшиеся одиночки, более молодые и сильные, объединялись друг с другом. Я впервые поняла, что я почти "доходяга" и со мной не очень-то стремятся работать. Я не обижалась на людей. Я сама боялась соединиться с очень слабыми, ведь пара должна была сделать две нормы — восемь кубометров, из которых со слабым напарником на мою долю пришлось бы кубометров пять-шесть, а на это у меня, конечно, не хватило бы сил. Я решила работать одна. Сноровка уже была, я валила с корня метровой двуручной пилой листовницы, распиливала их на трехметровку и укладывала четырехкубометровый штабель. Двуручной пилой можно было работать одной, потому что в снегу пила ходила, как в станке по узкому каналу. Я делала свою норму и кое-как держалась на первой категории (т. е. на пятистах граммах хлеба). Но очень было тоскливо целый день в лесу одной. Тоскливо и страшно, потому что я плохо ориентируюсь. Кончала я свою работу, когда почти все уходили домой, и я никогда не была уверена, что найду дорогу, а заблудиться — смерть. Время тянулось медленно, казалось, что зима никогда не кончится. Но месяца через полтора вызвали дополнительный этап на агробазу, и я в него попала.

Двадцать километров мы шли с раннего утра до ночи, и мне казалось, что я ни за что не дойду — ноги были совершенно ватные и весили пуды.

Пришли мы поздним вечером, и сразу меня встретила Рая. Она приготовила мне кипяток, какие-то сухари, раздобыла целый узел сена для матраца, меня ждало место на нарах около нее. Ох, как греет дружба! Мы долго говорили. Ей повезло: она попала на месячные курсы овощеводов и окончила их очень хорошо. Место на агробазе ей было почти обеспечено. Агробаза нам казалась спасением: работа на одном месте, более легкая, чем в лесу, летом всегда можно было украдкой поесть овощей, зимой работали в помещении — в теплицах. Рая уже говорила начальнику агробазы Онищенко, что я хорошо работаю. ловкая, сильная, и она была уверена, что меня тоже оставят. Я-то не была в этом уверена, я-то знала, как я ослабла, да еще эти ватные ноги. Они никак не двигались. Но я все-таки надеялась, что я отдохну, немного окрепну, и меня оставят на агробазе.

Назавтра мы вышли на работу. Надо было вывезти снег с территории агробазы. Вывозили его мы на санях, впрягшись по двое, как лошади.

Несколько раз я ловила на себе тревожный взгляд Раи, и она старалась сильнее тянуть, потому что я еле шла.

— Тебе трудно со мной, — сказала я, — я очень ослабела.

— Совсем не трудно, только не имей такого несчастного вида, иди бодрей, а то смотрит Онищенко, он не любит "доходяг".

Онищенко стоял у ворот агробазы и каждый раз, когда мы вывозили снег, внимательно следил за нами.

Ему надо было отобрать людей на постоянную работу, и он нас изучал. Каждый раз, когда мы проходили мимо него. Рая тревожно смотрела на меня и умоляла:

— У тебя такой несчастный вид, ты не можешь несколько метров идти бодрее? Улыбнись, пожалуйста!

Я как со стороны себя видела: как вытянулись у меня шея и подбородок, как всем корпусом я подалась вперед, а проклятые ноги никак не идут и влачатся где-то сзади. Улыбнуться. Ох, как это трудно! Получается дурацкий оскал, как у трупа.

Нет. Я не сумела обмануть Онищенко. Не оставил. После уборки снега меня отослали обратно в лес.

Они летят, они летят на юг,
А я осталась,
Подстреленная птица на земле.
Я вижу молодость свою в застывшей мгле...
На синем юге, на далеком юге,
Купаются в живительном огне
Мои крылатые подруги.
Какой холодный снег...

Начальник охраны

Это был очень трудный день — я проснулась с тяжелой мигренью. С ужасом подумала: как я буду работать? Повышенной температуры нет. Блатнячке Вальке — лекпому дать нечего, последние чулки из посылки отдала ей месяц назад во время мигрени. Без этого освобождения не даст. Выглянула из барака. Холод такой, что я даже немного успокоилась, наверное, ниже 50 градусов, должны активировать. Легла на нары, согрелась, задремала. Увы! Раздался бой о рельсу — подъем. Послышались голоса:

— Воздух свистит! Значит, ниже 50! И ответ бригадира:

— Нет, 48.

Ну, ничего не поделаешь. Надо идти в лес. Работала я в этот период одна, так как моя напарница Галя Прозоровская заболела. Надо свалить дерево, очистить от сучьев, распилить на трехметровку и сложив штабель в 4 кубометра. Работать было почти невозможно, холод пронизывал. Все же часам к четырем был сложен мой штабель. Но я с ужасом убедилась, что четырех кубометров в нем нет. Надо было спилить еще хотя бы одно дерево, разделить его и уложить. Но сил совершенно не было. Я решила рискнуть: может быть, не заметят. Пошла в лагерь. Только вышла на дорогу — увидела начальник охраны. Это был человек лет тридцати, здоровый, красивый, одетый в меховой полушубок, серую каракулеву шапку и бурки до колен. Лицо у него было свежепобритое, розовое, спокойное. Пахло от него водкой и одеколоном,

— Вы уже кончили норму?

— Да, вот мой штабель.

Он подошел и сразу увидел, что четырех кубометров нет.

— Вы не выполнили норму. Срубите еще вот это дерево и можете идти в лагерь.

— У меня болит голова. Мне очень холодно. Я не могу больше работать.

— Не нахожу, что очень холодно. Погода тихая. Наберитесь терпения. — Он сел на пень и закурил.

Пришлось мне проработать еще с час. Он курил и время от времени изрекал:

— Норма есть норма. Работать надо честно. Я складывала трехметровые бревна, причем буквально надрывалась от их тяжести, а он покуривал.

Ненависть к нему кипела в моем сердце. Идя домой я придумывала, какие ему пожелать напасти: чтобы он попал под падающее дерево, а я смеялась бы и не помогла. Чтобы он умирал, а я радовалась. Но увы! Все это было совершенно нереально, он был здоровенный тридцатилетний мужик, сытый, тепло одетый, спокойный.

Эта сцена произошла в начале марта 1944 года, а 27 апреля я кончила свой срок и освободилась.

К ноябрю я уже немного отдохнула и потолстела. 7 ноября в столовой устроили праздник: к обеду прибавили сладкое блюдо, продавали вино. Я сидела за столиком одна. Вдруг вошел мужчина и направился ко мне. Это был он, начальник охраны, которому я желала всяких зол.

— Разрешите сесть? — Я кивнула. Он взглянул на меня и узнал. Лицо его засияло, как будто он встретил друга. — Боже мой, это вы, Слиозберг! Как же вы изменились, как похорошели! Как вы живете? Замужем?

— Нет, я живу одна.

— А как вы устроились, где работаете, есть ли у вас комната?

— Комната есть. Работаю в конторе.

— Ах, как приятно встретиться! Я ведь здесь никого не знаю. Мне просто повезло! Но как прекрасно вы выглядите, какая нарядная! (На мне вместо лагерных тряпок был мой единственный наряд — белая кофточка.) У меня к вам просьба: пригласите меня к себе! Так приятно поговорить с женщиной!

Я спросила его довольно игривым тоном:

— А я вам нравлюсь?

— Очень, очень нравитесь. Не думайте, что я вас равнял с проститутками. Я всегда понимал, что вы из себя представляете.

— Так. Значит, я вам нравлюсь и нравилась раньше?

— Да, да, конечно!

Глаза его заблестели, он погладил мою руку.

— Ну, а вы мне никогда не нравились, а сейчас не нравитесь совсем!

Его лицо выразило глубокое оскорбление.

— Ах, так? Ну, что ж, до свиданья.

Он вышел с видом непонятой добродетели. Я пошла домой. У меня не было к нему ненависти. Было бы кого ненавидеть. Он просто дурак.

Надежда Васильевна Гранкина

С Надеждой Васильевной Гранкиной мы ехали в одной теплушке на Колыму, а в Магадане поселились в одном бараке.

Это был барак № 7, самый плохой, на 70 человек, с двойными нарами.

Было столько народу, что многих я знала только по фамилии да в лицо, а словом никогда не обмолвились. Так было у меня и с Надей.

Однажды белой ночью нас послали поливать картошку. Воду возила лошадь, а за ней бегал маленький жеребенок. Иногда он бежал за матерью на речку, иногда носился между нами, прыгал и веселился. Но случилось, что, когда жеребенок за матерью не побежал, водовоз стал возить воду на другой участок. Обнаружив, что мать пропала, жеребенок стал ее звать, метаться, кричать — в общем, был в отчаянии. И вдруг я увидела, что Надя побледнела, затряслась, зарыдала.

— Что с вами? — спросила я. Я никогда не видела Надю плачущей.

— Вот так же, наверное, мечется, ищет меня и плачет моя Кинуся!

Надя рассказала мне, что оставила девочку у своей матери, суровой старухи, еле-еле живущей на крохотную пенсию. Надина мать очень осуждала дочь и зятя за то, что они что-то натворили, сели в тюрьму и подбросили ей внучку. Девочка была слабенькая, хромая после полиомиелита, бабушку боялась, была горячо привязана к матери. Надя меня спросила о моих детях. Мне даже было стыдно жаловаться: дети жили у моих родителей, которые на них молились. Сестры мои и брат им помогали.

С этого дня мы с Надей не разлучались: вместе спали, на работе старались быть рядом.

Мы, конечно, рассказывали друг другу о своей жизни. Надо сказать, что судьба Нади определилась еще до рождения: ее отец, вдовый священник, по церковному закону не мог жениться на ее матери, которая жила у него в экономках. Двое детей, Надя и ее брат, оказались незаконнорожденными. Это был ужасный позор. Детей прятали, скрывали и, наконец, отдали в семью бездетного брата матери, который служил дьяконом в царскосельской церкви. Дядя и тетка были хорошими людьми и воспитывали детей, как своих. Нарушала спокойствие только время от времени появлявшаяся мать, которая скандалила то с братом, то с невесткой из-за неправильного воспитания детей: то не так едят, то не так входят в комнату и т. п.

До поступления в гимназию Надя не знала, что она незаконнорожденная. В гимназии девочки были из дворянских и даже придворных семей. Многие матери запрещали своим дочерям водиться с Надей. Это ее глубоко ранило.

Революцию Надя приняла всей душой. Она даже хотела вступить в молодежную коммунистическую организацию (комсомола еще не было). На приеме ее спросили, почему она хочет быть членом организации. Надя ответила, что коммунисты — последователи Христа, хотят добра для бедных и обиженных. Она, любя Христа, хочет быть с ними. Естественно, ее не приняли.

В 1919 году мать увезла ее из голодного Петрограда в Луганск, где стала работать кастеляншей в больнице, а Надя, которой шел уже шестнадцатый год, там же санитаркой. Она опять подала заявление в комсомол, ее приняли. Она была счастлива. Но кто-то узнал, что Надя дочь священника, ее исключили.

Она стала работать библиотекарем в воинской части. Увлеклась своей работой.

В 1922 году она встретила своего героя — Ефима Гранкина. Он провоевал всю гражданскую войну, жил только революцией и так же мало заботился о быте, как и Надя. Они поженились. Вскоре у них родилась дочка. Назвали ее Киной (Коммунистический интернационал!).

Но уже с 1925 года начались большие трудности: заболел муж (последствия ранения) и его демобилизовали из армии. А в 1927 году Гранкина исключили из партии как троцкиста. Надя мало разбиралась в политике, она была уверена, что муж ее — истинный коммунист-ленинец. Гранкин получал маленькую пенсию, целыми днями читал Ленина и Маркса и доказывал, что он прав. Работать он хотел только в политико-просветительной области, куда ход ему был, естественно, закрыт. Хоть он и был выходец из крестьян, обладавший золотыми руками, он не хотел никакой другой работы, кроме политической. Семью должна была содержать Надя. В Луганске работы не было. Пришлось вернуться в Ленинград. Поселились с матерью в тесной коммунальной квартире. Мать возненавидела зятя, и Надя жила между молотом и наковальней. Поступила работать в библиотеку. Дочь оставляла то на бабушку, которая не хотела с ней возиться, то на мужа, который считал ниже своего достоинства заниматься хозяйством и ребенком. Когда девочке исполнилось 10 лет, она заболела полиомиелитом и осталась хромой.

В 1936 году Гранкина арестовали, а Надю выслали в Самару якобы для ухода за больным мужем, который не может себя обслуживать. Девочку пришлось взять с собой, бабушка не соглашалась оставить ее у себя.

В Самаре Гранкина не оказалось. Надю перевели в Оренбург. Мужа не было и там — он в это время лежал в тюремной больнице в Ленинграде, где вскоре умер. Без денег, без

квартиры мучилась Надя в Оренбурге с больной девочкой. Наконец как-то устроилась с квартирой и работой. Но наступил 1937 год. Надю арестовали. Дали ей 10 лет лишения свободы, а девочку отправили в Ленинград к бабушке. Надю два года бросали из тюрьмы в тюрьму, а в 1939 году отправили на Колыму, тем же этапом, где везли и меня.

О том, как мы подружились на Колыме, я уже писала. Мы старались держаться вместе, но в лагере собой не распоряжаются.

В 1943 году, когда мы с ней работали на лесоповале, произошло удивительное событие. Когда-то в поисках заработка Надя поступила на курсы машинной вышивки и окончила их. В ее деле лежал диплом об окончании курсов. Неожиданно ее вызвали в Эльген, в мастерскую, и она проработала там до конца срока, почти 4 года. Это была большая удача — работа в тепле, женская, иногда можно что-нибудь сделать налево, будешь сыта.

О дальнейшей судьбе Нади я узнала после освобождения.

Надя все время пыталась связаться с Ленинградом, где остались ее дочь и мать. Сердце разрывалось от страха за них. Наконец в 1945 году Надя получила известие, что они обе умерли в 1943 году. Потом Надя говорила мне, что она себя утешает тем, что они больше не мучаются. Горькое утешение!

Так или иначе, Надя перенесла и это несчастье и продолжала жить. У нее осталась одна мечта: выйти на волю, лагерь ей опротивел так, что она уже не могла ни о чем думать, кроме как об окончании срока. А ей еще оставалось сидеть около полутора лет.

В это время вышивки все больше входили в моду. Дам (жен начальников) в Эльгене было много, а рук у Нади только две. Создалась очередь. Спор между дамами: "Почему М.Н. сделали 5 штор, а Н.Н. только 2?" "Почему очередь не дойдет никак до моей кофточки?" — кричала В.Я. "Я первая заказала скатерть", — жаловалась Н.Н. Короче, к концу 1946 года накопилась груда невыполненной работы. Дамы бросились к начальнику лагеря: "Неужели вы ее отпустите и мы останемся без вышивок?" Начальник успокаивал своих дам, обещал Надю как-нибудь задержать. Как раз в это время до Эльгена дошла весть о том, что начальство проделало с Цилей Коган в Магадане. Циля кончала свой срок в 1946 году и, конечно, мечтала о воле. Ее освободили, и на радостях она устроила угощение для оставшихся в лагере товарищей. На прощание Циля сказала: "Наконец-то я избавилась от этой каторги. Желаю того же всем вам". Увы! Эти слова были переданы начальству. Началось новое следствие, и бедняга Циля получила второй срок за антисоветское высказывание. Оказывается, для лагеря слово "каторга" было оскорбительным. Все мы были потрясены, и Надя, конечно, тоже. Не удивительно, что когда Наде рассказали, что вызывали некоторых женщин и спрашивали, что Надя говорила по такому-то и такому поводу, она помертвела. Было совершенно ясно, что ей тоже готовят второй срок.

Между тем, узнав, что должна освободиться еще не старая "политическая" женщина, у лагеря толпились "женихи". Это были, как правило, бытовики (халатность, растрата, нарушение паспортного режима и т. п.). Они не хотели жениться на блатнячках и искали "порядочную". Один из женихов, некий Борис, сумел проникнуть в мастерскую. Он предложил Наде следующее: он добьется ее освобождения, а она выйдет за него замуж. Как он собирался действовать, Надя не знала. Обезумев от ужаса, она согласилась. Он казался ей менее страшным, чем новый срок.

Надю выпустили день в день, и Борис увез ее на дальний прииск, где он работал снабженцем и где не было ни одного человека, подходящего Наде даже для разговора, не говоря о дружбе. Уже через несколько дней Надя почувствовала физическое и нравственное отвращение к своему "мужу". Мечтала уехать. Но как? Он все время говорил о том, сколько она ему стоила, как много он истратил на ее освобождение, одежду, да и питание. Денег у Нади не было ни копейки, все ее документы, включая хлебную карточку, находились у Бориса. Начались ежедневные и еженощные скандалы. Так они прожили в одной комнате в состоянии войны два месяца.

В это время из Магадана приехал на их прииск бухгалтер-ревизор Викентий Яковлевич Тулицкий. Попал он в лагерь за связь с женой большого начальника, которому нетрудно

было устранить соперника путем выдуманного дела. Статья была легкая, и Тулицкий после освобождения работал в Магадане и хорошо зарабатывал.

Тулицкий остановился в том же бараке, где жили Надя с Борисом. Слышимость была полная, и он скоро понял, что происходит. Он заходил к Борису. Иногда Надя угощала его обедом, порой они с Борисом выпивали рюмочку-другую. Однажды во время семейной сцены он вошел и предложил Борису оплатить его траты на Надю, а ей сказал:

— Я не настаиваю, чтобы вы вышли за меня замуж, хотя считал бы счастьем иметь такую жену. Я вас довезу до Ягодного или Магадана, а там — живите, как хотите. Если сможете, вернете мне долг.

Надя согласилась с ним уехать, а в дальней дороге оценила его внимательность, ненавязчивость. Одним словом, в Магадане они зарегистрировались и стали дружно жить. Между прочим, Тулицкий из "шляхетской" гордости (он был поляк) не разрешал Наде работать: "Я сам заработаю на себя и на жену". Наде и не хотелось служить. Она хозяйничала в своей восьмиметровой комнатке, дом ее стал приютом для всех освобожденных политических (шел 1948 год, те, кто выжил после 37-го года, выходили на волю).

Тулицкому льстило, что к ним ходят бывшие писатели, артисты, партработники, доктора наук, директора заводов и все его уважают как хозяина дома. Так они прожили до конца 1956 года, 8 лет. Надя первый раз в жизни жила спокойно и обеспеченно.

В это время все уезжали на "материк" за реабилитацией. Надю тоже потянуло в ее любимый Ленинград. На материке Тулицкий заехал к родственникам в провинции, а Надя одна приехала в Ленинград. С вокзала она пошла к брату, который стал военным в каком-то крупном чине. Он открыл Наде дверь и, не здороваясь, спросил: "Ты реабилитирована?" Узнав, что еще нет, он сказал: "В моем положении я не могу тебя принять. После реабилитации — милости прошу", — и захлопнул дверь. Надя осталась на улице, не зная, куда идти. К счастью, она вспомнила номер телефона своей сослуживицы по библиотеке Симы Ароновны Сулькиной. Попробовала позвонить. Реакция была совершенно противоположной тому, что она встретила у брата. Сима ее узнала по голосу. "Надя, — закричала она, — ты вернулась? Сейчас же приезжай, я все время о тебе думаю!" Сима встретила ее, как родную сестру. Вскоре приехал Тулицкий, и они вдвоем с Надей почти целый год прожили на зимней даче Симы в Рошине.

Через год Надю реабилитировали, дали квартиру. Тулицкий поступил на работу по озеленению Ленинграда.

Он был еще не стар (около 50 лет), энергия была в нем ключом. Не надо забывать, что он прошел Колыму, т. е. огонь, воду и медные трубы. Завелись друзья, какие-то дела, приносившие большие деньги, женщины весьма сомнительного поведения, которыми Тулицкий очень интересовался.

Отношения с Надей начали портиться. Он ценил ее как доброго и порядочного человека, отличную хозяйку, восхищался ее пирогами и шашлыками. Он хотел, чтобы она, как и он, жила весело, не вспоминала бы все время прошлое, осуждал ее стремление писать воспоминания и даже опасался этого. В частности, ей хотелось побывать в доме, где она жила с мужем и Киной до 1936 года. Дом был на другом конце Ленинграда, сообщение очень плохое. Наде было страшно ехать одной, она боялась нахлынувших воспоминаний. Звала с собой Тулицкого. Он обещал поехать, но все откладывал. Однажды, придя домой, сказал ей:

— Был я по твоему старому адресу. Дом твой разрушен в войну, сейчас там строят панельные девятиэтажки. Ехать ни к чему.

Так намерение Нади осталось неосуществимым. Что она могла противопоставить его веселой жизни? Посещение музеев и театров? Чтение книг? Разве это ему надо было?

Наши отношения с Надей были очень близкими. Она бывала у меня в Москве, я навещала ее в Ленинграде. Я понимала, что отношения ее с Тулицким идут к разрыву. Но в середине шестидесятых годов он заболел раком легкого. Надя забыла все обиды и полтора года преданно ухаживала за ним. Особенно тяжело было, когда недели за три до смерти его

парализовало. Лежал он дома, уход был очень тяжелый, но Надя самоотверженно день и ночь не отходила от него.

После смерти Тулицкого выяснилось, что у него остались какие-то долги и ни копейки денег. А Надя, которая на Севере по найму не работала, получала мизерную пенсию, 35 рублей, на которые жить было, конечно, невозможно. Она поступила гардеробщицей в школу. Преимуществом этой работы были длительный летний отпуск и зимние каникулы. После смерти Тулицкого мы с Надей особенно сошлись. Она каждое лето приезжала ко мне на подмосковную дачу, я ездила на зимние каникулы в Ленинград. Особенно нас сблизило то, что мы обе писали воспоминания.

Я, по своему характеру, очень много рассказывала родным и знакомым о тюрьмах, лагерях, репрессиях. Эта тема была еще не раскрыта. Люди жадно тянулись ко мне с вопросами: почему сажали, почему подписывали...

Порассказав несколько раз, я записывала уже обкатанный рассказ, мне было легко. Не то Надя. Она боялась рассказывать о пережитом, даже скрывала от новых знакомых свое прошлое. Она часто пугала меня тем, что я еще отвечу за свои рассказы, что все может перемениться, не надо забывать, что мы при освобождении давали подписку "не разглашать"... Кроме того, Надя ведь не имела даже среднего образования. Она каждую страницу переписывала по 3–4 раза. Обладая блестящей памятью и необыкновенной добросовестностью, Надя создала серьезный труд, который, по мнению историков, будет очень полезен для науки. В этом труде огромное количество имен заключенных, следователей, начальников тюрем, дежурных тюремщиков. Частично ее воспоминания напечатаны в сборнике "Доднесь тяготееет", остальное будет сдано в Мемориал.

Жизнь сумела нанести этому честному, доброму, бесконечно терпеливому человеку еще один удар. Вспоминая Тулицкого, Надя вдруг усомнилась, что он ездил в ее старую квартиру. Что-то было нарочитое в его рассказе. И вот Надя собрала силы и поехала по своему прежнему адресу. К ее удивлению, дореволюционный трехэтажный дом стоял на прежнем месте. С трепетом она позвонила в свою бывшую квартиру. Ей открыла толстая шестидесятилетняя женщина, в которой Надя с трудом нашла сходство с двадцатилетней Верочкой, бывшей соседкой. Надя объяснила, кто она. Вера Ивановна вспомнила Надю, тепло ее приняла, пригласила зайти. Старая коммунальная квартира превратилась в современную отдельную, где жила большая семья Веры Ивановны, ее дети, внуки.

О Кине Вера Ивановна рассказала следующее:

"После смерти бабушки, в начале 1943 года, Кина осталась одна. Она сидела в своей ледяной комнате, где все было сожжено, закутанная в тряпки, и выходила из дома только за хлебом, раз в день. Она еле ходила, но хлеб все-таки получала. Однажды Кина пришла домой — на ней лица не было. Она что-то хотела сказать, но мне было не до нее: у меня в это время умирала мать. Кина замолчала, зашла в свою комнату, закрыла дверь. Только назавтра я зашла к ней. Девочка была мертва, на лице был след удара, хлебной карточки у нее не было, я поняла, что у нее карточку отняли".

— Я не могу, я не могу, — кричала Надя. — Ведь этот убийца жив и ходит по улице. Я бы задушила его собственными руками! Нет, ты подумай, — говорила Надя, — это было в 1943 году. Я была молодая, сильная. Я бы согрела, накормила, спасла ее! А я по 10 часов в день вышивала кофточки для этих поганых дам! Я не могу, не могу, не могу этого перенести!..

От этого удара Надя уже не оправилась. Вскоре у нее произошел инсульт, и в начале 1983 года она умерла.

Освобождение

В 1941 году должна была освободиться Надя Федорович, которая была арестована в 1936 году, имела срок 5 лет.

У нее на воле остался девятилетний сын, нервный, самолюбивый мальчик. Он сначала

жил с бабушкой, а когда бабушка в 1938 году умерла, скитался по родственникам, которые тяготились им и, продержав его год-полтора, старались сплавить к другим дядькам и теткам. Он писал матери жалобы на родню: "Своим дают хлеб с маслом, а мне с маргарином, ношу только обноски с Леньки да Сашки, нового мне ничего не покупают". И еще: "Мальчишки говорят — твои мать с отцом арестанты".

Надя считала дни до освобождения и мечтала взять к себе сына.

Ко дню ее освобождения, 25 июня 1941 года, мы приготовили Наде целое приданое: кто подарил ей юбку, кто сорочку, кто платок. Надя была первая, кто кончал срок. О том, что началась война, мы не знали. (Газет не давали.) Но что-то чувствовалось в воздухе тревожное, Надя нервничала и, готовясь к воле, не верила, что она придет.

Наступил день 25 июня, наступил и прошел. Прошел еще томительный месяц. Наконец Надю вызвали к начальнику лагеря на 12 часов.

Утром мы, как всегда, ушли на работу. Надя осталась в бараке. Я перед разводом подошла к ней.

— Может быть, последний раз тебя вижу, кончились твои муки.

— Не знаю, — ответила Надя, — что-то сердце болит.

Вечером вернулись. Надя сидит у печки, курит.

Дневальная шепотом предупреждает: "Не подходите, психует, не освободили".

Надя расписалась, что остается в лагере "впредь до особого распоряжения".

А сын-то ведь знал, что Надя освобождается 25 июня, она все просила его не ссориться с родней, потерпеть немного. Она с ужасом думала, как сын воспримет ее письмо, где она ему сообщала, что встреча откладывается на неопределенное время. Но сын письма не получил, цензура не пропустила такое криминальное сообщение, что человек кончил срок, а его оставили "впредь до особого распоряжения".

Надя не знала, что письмо не отправлено, ждала ответа и не получала. Вдруг зимой 1942 года получает письмо от неизвестного человека, который подобрал Борю на полустанке где-то около Иркутска, в жестоком воспалении легких, взял к себе и выходил. Он упрекал Надю, что она, освободившись, забыла сына, что она дурная мать, наверное, вышла замуж и живет себе поживает, в то время как ее четырнадцатилетний мальчик, проехав зайцем из-под Рязани до Иркутска, погибает от голода.

Мы уже знали, что война, что письма не пропускают. Надя побежала к начальнику лагеря, писала заявления прокурору, металась, как львица в клетке, но везде встречала холодный ответ: "Переписка прекращена до особого распоряжения".

Так она и не узнала, что с сыном и где он, а сын беспризорничал, попал в банду и уже в 1947 году объявился в Колымском лагере уголовников со сроком в пять лет.

Подошел срок освобождения и еще нескольким женщинам, но всех, с тяжелыми политическими статьями, оставляли впредь до особого распоряжения. Образовалась целая плеяда "пересидчиков". Правда, на миру и смерть красна, другие, будучи как-то подготовленными, воспринимали это не так трагически, как Надя, но все же было несколько случаев самоубийств: люди не выдерживали мысли о том, что "воля", которой ждали, считая недели и дни, отодвигается на неопределенное время.

В лагере делалось все тяжелее и тяжелее. Мучительный и непрерывный голод, свирепая дисциплина, всеобщее уныние. В этой обстановке 27 апреля 1944 года подходил для меня срок освобождения.

Если верить письмам моих родных, то Верховный суд переменял ст. 58/8 (террор) на 58/12 (недонесение). Это была самая легкая из политических статей, и с ней освобождали в срок. Но ведь мне в течение четырех лет не сообщали официально о перемене статьи, и я не знала, было ли такое постановление в действительности или мать обманули и все осталось по-прежнему. Я истосковалась. Зима 1943–1944 годов была самой для меня тяжелой. Мне кажется, я немного помешалась, никак не могла переключиться на что-нибудь другое, все время гадала, освободят или нет. Шла с работы, гадала: если дойду до барака к пяти часам — освободят, если позже — нет. Если вон до той сосны 100 шагов — освободят, если больше

— нет, и т. д.

Наконец, первого апреля 1944 года меня вызвали и сообщили, что 21.11.1940 года мне переменили статью на 58/12.

Воля стала реальностью.

Последние недели я жила, как в тумане, стала чужда лагерным интересам, боялась мечтать о воле и не знала, о чем мечтать. Говорили, что к родным в Россию все равно не пустят.

Мечтала, что приду с работы в свою комнату, запру дверь (обязательно запру дверь), лягу на кровать и при настоящей электрической лампе буду читать книгу из библиотеки.

Мечтала, что буду есть досыта. Что в страшный колымский мороз не буду ходить на работу в лес, устроюсь где-нибудь в конторе, в тепле. Мечтала, что не будет поверок, ругани, мата, не буду жить вместе с проститутками и воровками, мечтала, что летом в воскресенье пойду гулять на целый день, буду идти по дороге, сколько захочу, и никто мне этого не запретит, не заорет: "Приставить ногу! Шаг вправо, шаг влево — стреляю". А о большем не мечтала, боялась разочарований.

27 апреля меня освободили день в день. Из всей нашей партии освободилась я одна. Остальные пересиживали до 1947 года.хлопоты моей матери сохранили мне три года жизни.

Все считали, что я счастливица. А я все время плакала. Я не знала, как буду жить одна, без родных, без товарищей, с которыми сблизилась в лагере.

Я сразу же подала заявление с просьбой разрешить мне выезд на "материк", но получила ответ, что закрепляюсь навсегда на Колыме.

Навсегда. Сколько раз я подписывала это "навсегда"! Навсегда на Колыме, "навечно" в Караганде, навсегда запрещен въезд в Москву.

Эта вечность оказалась ограниченной двенадцатью годами, до Двадцатого съезда, но как долго тянулись эти двенадцать лет!

Николай Васильевич Адамов

В 1944 году я уже знала, что приговор, полученный моим мужем — 10 лет без права переписки, — это шифр расстрела, что я вдова.

И вот явился друг, опора в жизни. Я вышла замуж за Николая Васильевича Адамова.

Он был полной противоположностью моему первому мужу. Закгейм — рафинированный интеллигент, энциклопедически образованный. Он глубоко знал естествознание — защитил диссертацию по естествознанию XVIII века, прекрасно разбирался в музыке, живописи. Нельзя представить себе, чтобы он выругался или толкнул кого-нибудь.

Николай — сын шахтера из Донбасса, старший из четверых детей. Его отдали в городское училище. В 13 лет он пошел работать на кондитерскую фабрику. В 1918 году, когда Николаю было 16 лет, белые заняли Донбасс. Шахтеры, чтобы не отдавать им уголь, затопили шахту, на которой работал отец Николая. Белые схватили его и повесили. Николай остался старшим в семье, кормильцем. Трудно было бросить мать с сестренками, но сильнее была тяга на фронт, желание отомстить за отца. И он ушел из дома в Красную Армию. Провел на фронтах всю гражданскую войну.

В 1927 году Николай окончил ветеринарный институт. И снова его взяли в армию, комиссаром в Особый Дальневосточный полк.

В 1935 году его арестовали за антисталинские высказывания. Следователь начал спрашивать про жену. Поняв, что к ней тоже подбираются, Николай заявил, что хочет дать важные показания наедине уполномоченному НКВД. Когда они остались вдвоем, Николай сказал: "Имейте в виду, если мою жену арестуют, я дам такие показания на вас, что сядете крепче меня". Жену его не тронули, но она была так напугана, что сама от Николая отказалась.

Николай получил пять лет, и его привезли в Магадан весной 1937 года. Вскоре там начал свирепствовать полковник Гаранин, одно имя которого наводило ужас на заключенных. Он многим добавлял "за саботаж" новый срок — 10 лет, в лагерях своей рукой расстреливал людей. В это время самым страшным местом была "Серпантинка" — штрафной лагерь. Николай попал туда.

Баракы там были так набиты, что сидеть на полу можно было только по очереди, остальные стояли. По утрам открывалась дверь, и вызывали 10–12 человек по фамилиям. Никто не отзывался. Тогда хватали первых попавшихся и увозили на расстрел. Однажды и Николай попал в такую десятку, хотя назвали фамилии совсем других людей. Их загнали в кузов машины и повезли. Все конвоиры были пьяные. В углу машины валялись мешки. Николай заполз под мешки. Приехали на место, заключенных вывели. Через несколько минут раздались выстрелы. Конвоиры вернулись одни и поехали в лагерь. Николаю удалось вечером выбраться из-под мешков и присоединиться к заключенным, пилившим дрова.

Однажды открылась дверь и вызвали Адамова. Он, конечно, не отозвался. Ушли. Потом опять спрашивали, который тут Адамов — ветеринар, у нас свиньи падают, заболели. "Ах так, — сказал Николай, — тогда Адамов — это я". Его повели в свинарник, где, чуть живые, по колено в грязи, стояли свиньи. Он их вымыл, убрал навоз, помазал ноги йодом, и свиньи ожили.

Начальство оценило его, и Николай прочно обосновала в свинарнике. Потом Гаранин куда-то исчез, оставшихся в живых заключенных перевели в обычные лагеря, окончивших срок освободили, в их числе и Николая.

На воле Николай стал работать на складе в Ягодном, а потом и заведовать им. Так уж случилось, что после моего освобождения я попала на работу на этот склад счетоводом.

Часто на склад приходили энкаведешники. Я их ужасно боялась. Мне казалось, что они могут меня ни за что снова арестовать. Я старалась поскорее ответить на все их вопросы, быть с ними любезной. Николай наблюдал за мной с усмешкой. "Почему ты их боишься? Подумай, что из себя представляют они и что ты! Плевать на них! Привыкли дармовой спирт жрать — у меня не получают".

Николай часто заходил в бухгалтерию, где я работала. Мне доставляло большое удовольствие с ним разговаривать. У него был резкий наблюдательный ум, он много видел и на фронте, и в заключении. Мне он доверял, как и я ему. А время тогда было опасное, еще не кончилась война, за одно слово можно было получить срок.

Общение с Николаем сделалось потребностью, мы все вечера проводили вместе. Но, к моему горю, его вдруг перевели на другой склад, на прииск Бурхала, в 60 километрах от Ягодного. Он стал приезжать ко мне каждое воскресенье. Без Николая работа на складе была так скучна, что я совсем затосковала.

В это время я случайно познакомилась с директором школы Александром Александровичем (фамилии не помню). По рождению он был дворянин. Великолепно образованный человек, окончил университет, знал языки, литературу. Он был небогат и еще до революции стал работать преподавателем литературы в какой-то провинциальной гимназии. Революция его, конечно, задела. Он был арестован, потом сослан, помотался по России и, наконец попал на Колыму. Отсидев свой срок, он стал работать в школе по специальности, а потом ему поручили организовать школу для взрослых. Но где взять учителей в Ягодном? Мы с ним разговорились о литературе, и он предложил мне преподавать литературу в его школе.

Сначала я отказалась: ведь у меня нет литературного образования, и я не умею преподавать.

— Если бы вы знали, какие у меня преподаватели! Жены работников НКВД! — воскликнул Александр Александрович. — Да вот, давайте я вам всем устрою экзамен.

Он собрал всех кандидаток в учителя и продиктовал нам две страницы. Я сделала две ошибки (правда, в запятых) и была очень смущена. Но директор пришел в восторг: "Что вы, вы среди них — звезда! Знаете, сколько сделала ошибок преподаватель истории? 28 на двух

страничках!"

Так я стала учительницей литературы. У меня не было ни опыта, ни программ, ни методической литературы, ни книг. А.А. достал мне томики Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Крылова. Я с ним договорилась, что начну с биографий писателей, кое-что прочту им вслух, а потом, может быть, найдем пособия и программу.

Ученики мои все были работниками НКВД. Я даже не подозревала, что в России взрослые люди могут быть такими неграмотными. Они ничего не читали, только смутно слышали, что Пушкин, Лермонтов, Гоголь — большие писатели. Я рассказывала им биографии, читала "Повести Белкина", "Дубровского", "Бородино", рассказы Гоголя, басни Крылова.

Вначале все шло очень успешно. Слушали хорошо. Особенным успехом пользовался Гоголь. Они хохотали, просили перечесть. В общем, занятия шли неплохо. Но однажды я сделала непоправимую ошибку: я сказала, что Маркс и Энгельс очень интересовались русской литературой и высоко ценили Пушкина. Один из моих учеников встал и спросил меня:

— А зачем нам знать мнение этих немцев? Пораженная таким вопросом, я сказала:

— Я ведь говорю о Марксе и Энгельсе, это же наши учителя!

Назавтра А.А. вызвал меня к себе:

— Зачем вам надо было вдаваться в политику? На вас был донос, что вы призывали учиться у немцев! (А ведь шел 1944 год.) Меня и так уже вызывали, спрашивали о вас. Узнав, что вы сидели по тяжелой политической статье, ругали, что я, заранее не согласовав с кем полагается, пригласил вас на педагогическую работу. Короче, для меня ясно, что вас могут снова арестовать. Немедленно уезжайте из Ягодного куда хотите, бегите!

Совершенно убитая, я побежала домой. У меня сидел Николай, приехавший в гости. Выслушав мой рассказ, он заявил:

— Сейчас же собирай свои вещи, я увожу тебя на Бурхалу. Будешь моей женой. Мы зарегистрируемся, и ты будешь Адамовой. Твои дела со школой я улажу сам.

Я уехала с ним, а потом мы шутили, что меня выдал за него замуж Карл Маркс.

Николай был большим мастером в любой области. Он получил полуразрушенную квартирку, состоящую из комнаты и кухни, сам с товарищами привел ее в порядок, сложил кирпичную печку, в которой дрова загорались от одной спички, и целые сутки она источала ровное тепло. Где-то нашел сломанную керосиновую лампу, починил ее, сделал хороший абажур, и у нас царил ровный свет, в то время как большинство людей мучились с коптилками. Я тоже увлеклась организацией жизни: вышила красивые занавески на окна, большую нарядную скатерть на стол. К нам приходили друзья, и я с удовольствием готовила угощение.

Жизнь моя приобрела какую-то видимость нормальной, человеческой. Я поняла, что надо примириться. О детях нечего и мечтать. Многие женщины мне завидовали: у меня был хороший, заботливый муж, обеспеченная жизнь — чего еще надо?

И вдруг все круто изменилось. Я получила из дома письмо, где мне сообщили, что начальник Дальстроя Никишов (фактический "хозяин" Колымского края) был в Москве на совещании в Совете Министров. Мой брат, Михаил Львович Слиозберг, дружил с заместителем министра обороны Новиковым Владимиром Николаевичем. Они договорились, что Новиков попросит Никишова отпустить меня с Колымы. Никишов обещал.

В те годы люди старались не упоминать о своих связях с "врагами народа", а тем более просить за них. Так что поступок Новикова, да и моего брата Миши был чрезвычайно смелым.

Назавтра мои сестры и жена брата пошли к секретарше Никишова. Они отнесли ей большую шкатулку с заграничной косметикой и коробку шоколада. Секретарша приняла их весьма дружелюбно и сказала, что через месяц Никишов будет в Магадане и для меня будут готовы пропуск на материк и билет на пароход.

Вся прелесть жизни в Бурхале померкла. Я мечтала только о детях. Николаю очень не

хотелось расставаться со мной, но он сделал все, что мог. Он раздобыл мне талоны на хлеб, достал денег, собрал какой-то еды и договорился с водителем грузовой машины. Была ранняя весна, еще стояли довольно сильные морозы. Ехать надо было больше 500 километров. Они соорудили в кузове нечто вроде теплушки из фанеры, Николай устроил какое-то бензиновое отопление, достал три американских шерстяных одеяла, и я отправилась в Магадан. Сразу оказалось, что в моей теплушке холодно, пахнет бензином и невероятно трясет. Все три дня пути я изнемогала от морской болезни. Но все это ерунда, ведь я еду к детям!

В Магадане меня ждал удар: Никишова не было в городе, он ездил где-то по приискам. Я поселилась на пересылке, питалась в основном хлебом и каждый день узнавала, когда приедет Никишов. Говорили, что он и по 4 месяца ездит по приискам, ничего нельзя предсказать.

Есть было нечего — карточки мои кончились. Надежды на скорую встречу с Никишовым не было. Одним словом, я собралась и уехала обратно на свой прииск.

Я даже не помню, сколько времени мы ехали. Приехала я совсем больная. "Значит, не судьба!" — повторяла я себе. Я старалась не показать Николаю, как мне тяжело. А он был счастлив, что я вернулась, старался доставить мне какие-то удовольствия, был со мною ласков, терпелив.

Так мы прожили еще месяца два. Однажды мы пошли в кино. Смотрели "Без вины виноватые" с Тарасовой.

Эту картину я до сих пор помню до последней мелочи. Тоска матери о потерянном сыне, встреча с ним — все это так близко было мне, так подействовало на мою душу, что я начала отчаянно плакать. Слезы лились ручьем. Николай привел меня домой, уговаривал, как ребенка, успокоиться. Я легла в постель и, отвернувшись к стене, старалась скрыть от Николая, что все плачу. Он ходил по комнате, иногда подходил ко мне и подкладывал сухое полотенце, чтобы я не лежала в луже. Очень поздно лег, но тоже долго не спал, пробовал рукой, мокрая ли моя щека. Я не могла остановить слез до утра.

Наверное, я как-то заболела психически. Ничто меня не радовало. Я только старалась скрыть от Николая свои переживания, но он очень тонко их чувствовал:

Вдруг однажды вбежал в нашу комнату товарищ Николая и закричал:

— Бегите к начальнику прииска, туда недавно приехал Никишов, вы сможете с ним поговорить!

Я побежала. Начальник прииска жил в отдельном доме, стоящем в огороженном участке. Недалеко от входной двери росли кусты. Я решила спрятаться в них, а когда выйдет Никишов, обратиться к нему. Мне его описали — маленького роста, в галифе с красными лампасами.

Ждала я часа два. Вдруг отворилась дверь и показала Никишов, окруженный охраной. Я сразу узнала его по описанию. Он направился к автомобилю. Испуганная, что могу его пропустить, я выскочила из кустов с криком:

— Товарищ Никишов, моя фамилия Слиозберг, вы в Москве обещали Новикову отпустить меня с Колымы!

Реакция была очень смешная: Никишов, очевидно, подумал, что я собираюсь его убить. Он закрыл лицо руками и закричал:

— Взять ее!

Меня сразу окружили военные. Я продолжала кричать:

— Я Слиозберг, вы обещали Новикову отпустить меня с Колымы!

Поняв, в чем дело, Никишов величественно произнес:

— Пусть едет, — сел в машину и укатил. Опять начали искать okazji в Магадан. Вскоре Николай узнал от шофера, приехавшего из Магадана, что Никишов в Магадане, завтра туда едет машина, меня могут взять. Николай спросил:

— Ты не боишься поездки? Не заболеешь опять? Боюсь ли я?! Да я пешком прошла бы эти 500 километров!

Ехать было легче, чем зимой, не было морозов, и я сидела не в теплушке, а на воздухе. Не помню, укачивало ли меня, вообще не помню, как я ехала. На прощание Николай сказал мне:

— Жди меня, я к тебе обязательно приеду. Тогда я совсем не поверила его словам, не думала о них. Но это сбылось, хоть и не скоро.

Секретарша Никишова приняла меня очень любезно, вспомнила моих сестер и невестку, велела мне подождать. Через полчаса в моих руках было разрешение на отъезд с Колымы с заездом в Москву на 14 дней.

Верочка

Я ждала посадки на пароход, который должен был увезти меня в большую жизнь после семи колымских лет.

Ко мне подошли две женщины с дочерьми. Женщины эти были из Эльгена. Одна, Софья Михайловна, — наш врач, другую я знала только в лицо. У Софьи Михайловны оставались на воле две дочери, и она ухитрилась даже из лагеря посылать им посылки и деньги, а освободившись, устроилась очень хорошо, так как была известна как серьезный детский врач и лечила детей у всего начальства. Она работала в трех местах, имела частную практику, и все заработанное посылала детям.

В 1945 году ее дочери, 13 и 20 лет, приехали к ней, а вот в июле 1946 года старшая из них, Верочка, уезжала на материк.

Лицо у Софьи Михайловны было все в красных пятнах, глаза заплаканы. Верочка, тоненькая темноглазая девушка, мрачно молчала.

Если Софья Михайловна была хорошо одета и походила на даму, то в ее спутнице, одетой в телогрейку и сапоги, с руками, изуродованными грубой работой, каждый узнал бы лагерницу. Она была явно растеряна и все говорила дочери:

— Надя, дай мне слово, что ты будешь учиться и оставишь свои глупости. Дай мне слово, Надя, ведь ты можешь погубить себя!

На это Надя целовала ее и говорила:

— Ну, я же сказала, мама, что буду учиться! А красить губы и танцевать — изволь, не буду, если это тебе так неприятно. Успокойся.

Софья Михайловна подошла ко мне с просьбой присмотреть за дочерью, которая едет на материк, чтобы привезти в Магадан бабушку, мать Софьи Михайловны. Я обещала присмотреть. В это время началась посадка. Мы попали в один трюм, на верхний этаж тройных нар.

Я целыми днями лежала на нарах и думала о том, как я встречу со своими почти взрослыми детьми. Как объясню им, каким образом их мать и отец стали "врагами народа". От этих мыслей я почти не могла спать по ночам, а днем, прислушиваясь к разговорам, отвлекалась и иногда спала.

Однажды, проснувшись, я услышала разговор Веры и Нади. Они разбирали Верин чемодан и смотрели, что дала дочери Софья Михайловна. Очевидно, вещи были хорошие, потому что Надя сказала:

— Все-таки у тебя хорошая мать: ведь ей тоже нелегко, в трех местах работает, а тебе сколько накопила. Мать!

На что Вера ответила с поразившей меня горечью:

— Лучше бы она была хуже мать и больше человек.

— Ну, уж моя мама человек хороший, — сказала Надя, — это тебе всякий скажет. А что толку? Не понимает она меня! Как начнет: "Мы горели, мы боролись, мы целыми ночами спорили! А вы только нарядами и танцульками интересуетесь!" Я как-то сказала: "Вы за что боролись, на то и напоролесь!" Так она побледнела, затряслась, я даже испугалась за нее: "Не смей говорить о том, чего не понимаешь!" Так что спорить, собственно говоря, тоже нельзя. И какая непрактичная! С таким образованием работает билетершей в бане. За целый

год еле наскребли мне на билет, а уж одеться и думать нечего!

Надя очень скоро обзавелась поклонником, и простаивала с ним все дни, а порой и ночи на палубе. Любовь у них росла, как на дрожжах. Когда я попробовала с ней поговорить, она мне ответила, что она совершеннолетняя, а парень этот очень хороший и, наверное, она за него выйдет замуж. Возражать не приходилось.

Вера целыми днями лежала молча, иногда читала какие-то письма, иногда плакала. Ехали мы целый месяц, постепенно сблизилась, и она рассказала мне свою историю.

В 1937 году, когда вместе с гибелью семьи кончилось детство Веры, ей было двенадцать лет. Воспоминания о жизни в семье казались ей лучезарными до неправдоподобности.

Отец Веры был самым знаменитым хирургом в небольшом южном городе, где они жили. Верочка любила приходить к нему в госпиталь, любила атмосферу восхищения перед мастерством отца, его властные распоряжения, его мягкость, доброту и счастливую усталость после работы. Он всегда говорил ей: "Ты будешь врачом. У тебя душа врача. У нас вся семья врачи — и дед твой, и отец с матерью".

Работа отца и матери была самым главным, к чему приспособилась вся жизнь семьи. Письменный стол отца был святыней, к которому Вера допускалась, чтобы вытереть пыль, но никогда ей в голову не пришло бы переложить листочек или переставить пробирку.

К отцу приходил университетский товарищ, завгорздравом, старый большевик. У него были какие-то неприятности. Он страстно доказывал что-то отцу. Верочка слышала слова: "Перерождение... Термидор..." Однажды отец пришел расстроенный и сказал матери: "Николай арестован".

Мать ужаснулась: "Где же правда, если такой, как Николай, считается врагом? Наверное, он прав — это перерождение". А отец ответил ей: "Я ничего не могу понять. Знаю одно: когда ко мне приносят человека с разбитым черепом, и я его снова делаю человеком, я прав. Хорошая у нас с тобой работа. Уж врач-то, если он честный врач, всегда прав".

Когда пришли арестовывать мать и отца, Верочка с ужасом глядела на отца, который сидел мрачный и молча смотрел, как рылись в его столе, листали книги, рукописи. Однажды, когда какой-то солдат встряхнул пробирку, он сделал невольное движение, метнулся к столу. Раздался окрик: "Сидеть!" Отец отвернулся от стола и все остальное время, два часа, которые длился обыск, сидел, согнувшись, и молчал.

Когда их увозили, мать, рыдая, обняла Веру и сказала:

— Верочка, береги Юлю. Она маленькая, она забудет даже свою фамилию. Я не найду ее. Береги ее, Вера. Отец положил руку на голову Верочки и сказал:

— Будь человеком, Вера, и береги себя. Ты ведь уже человек. Береги себя и Юлю.

Верочка осталась одна в страшной, разгромленной квартире, с плачущей пятилетней Юлей. Через полчаса приехала машина, и детей отвезли в детдома, но в разные. Веру оставили в их городке, а Юлю отвезли в детский дом под Горький.

У двенадцатилетней Верочки была цель жизни. Она разыскивала мать, отца и Юлю. С сестренкой она связалась довольно скоро. Ей сообщили адрес детского дома, и в ответ на ее умоляющее письмо одна из воспитательниц, Ольга Арсеньевна, начала писать ей, взяла под свое покровительство бедных сироток. (Потом Верочка узнала, что у Ольги Арсеньевны был арестован брат.)

Труднее было с родителями. Об отце она узнала лишь приговор: "Десять лет без права переписки". Мать через два года нашлась на Колыме.

Я хорошо помню, когда Софья Михайловна в 1939 году получила первое письмо от Верочки. Я была в бараке. Кто-то прибежал из КВЧ (культурно-воспитательная часть) и сказал, что для Софьи Михайловны лежит письмо. До этого времени она без конца запрашивала адреса своих девочек, но ей не отвечали. Она думала, что это из МГБ ей сообщают о детях. Накинув платок, бледная, побежала она к КВЧ, а через полчаса, плача, вошла в барак с письмом Верочки, ее карточкой. Письмо, конечно, пошло по рукам. Все плакали, все с восторгом смотрели на худенькую, стриженную наголо девочку с темными

смелыми глазами. Все читали ее милые мужественные слова, на писанные полудетским почерком. Она утешала мать, сообщала ей адрес Юли, сообщала приговор отца. Она писала, что учится хорошо и обязательно будет врачом, что у Юли очень добрая воспитательница.

Софья Михайловна ожила. У нее появилась цель жизни: выжить, встретиться с дочерьми. Она стала всеми способами добывать деньги, чтобы послать их девочкам. Она лечила детей начальства, делала аборт, не брезговала подношениями пациентов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бывали случаи, когда она за деньги освобождала блатнячек от работы. Это било, конечно, по нашим интересам, потому что она могла давать освобождение строго ограничено и часто даже явно больные не могли отдохнуть, а какая-нибудь Сонька Козырь или Мишка Торгсин вылеживались в бараке. Многие очень осуждали Софью Михайловну за это, но она старалась нам тоже немного облегчить жизнь: то рыбий жир или какой-нибудь витамин выпишет, то похлопочет о переводе на более легкую работу, а то и отдохнуть денек даст.

Детдом, в который попала Верочка, был плохой. Заведующая, не стесняясь, брала на кухне кастрюлями молоко для своих детей, а за ней тащил и персонал. У педагогов были любимцы из старших детей, которые ходили к ним домой, помогали по хозяйству и в огороде и за это пользовались привилегиями. Питание, естественно, было плохое, в помещении разруха и грязь. Дети возмущались и между собой ругали заведующую и ее подхалимов из ребят.

Однажды на торжественном собрании по поводу 7 ноября 1939 года после доклада заведующей о заботе государства о детях вне всякой программы встал пятнадцатилетний Алик Андреев и сказал:

— Может быть, государство и заботится о нас, но наши педагоги только и думают, как бы утащить у нас продукты. Даже ковер, который получили для красного уголка, лежит у заведующей в комнате.

Что тут поднялось! Председатель звонил и кричал, что слова Алику не давал, дети кричали: "Верно. И шоколад, что выдали на праздник, наполовину взяли учителя, и топят плохо, а у себя в квартирах, как в оранжерее". Несколько подхалимов тоже кричали: "Молчите, фашистские сынки!"

Тогда Алик вскочил на стул и закричал: "Нет, я не фашистский сынок. Если бы заведующая была такой же коммунисткой, как мой папа, мы не голодали бы. Он был настоящий коммунист, за то его и посадили".

Верочка несколько раз пыталась крикнуть и поддержать Алика, но сидевшая рядом с ней воспитательница сжала ей руку и шептала: "Молчи, ты себя погубишь". И Верочка промолчала.

После выкрика Алика все стихли, и вокруг него образовалась пустота. Он сошел со стула, понимая, что этого уж ему не простят, что этим воспользуются, чтобы погубить его.

И вот Вера, вспоминая глаза Алика и то, как она промолчала, стонала по ночам и плакала и краснела, завернувшись головой в одеяло. Алик был арестован и осужден на 5 лет исправительной колонии для малолетних преступников по статье 58 п. 10 (агитация против советской власти). Ему вменялась дискриминация советского суда. Воспитательница потом сказала Вере: "Видишь, хорошо, что я тебя остановила".

В 1940 году детдом, где жила Вера, перевели на восток, за Ташкент. К ее радости, случилось так, что Юлин детдом перевели в деревню за 50 километров от Вериного, и Верочка мечтала о том, чтобы как-нибудь повидать Юлю. Однажды из Юлиного детдома приехал шофер, который знал и Ольгу Арсеньевну, и Юлю.

— Сестренка твоя сильно болеет дизентерией, — сказал он. — Худенькая, как былинка, и вся запаршивела. Конечно, ей бы сейчас питание, а какое там питание.

Верочка незадолго до этого получила первую посылку от матери. В ней были сахар, яичный порошок, три плитки шоколада, пачка витаминов, блузочка и вязаный шарф. Она решила, что, обладая таким богатством, она выходит Юлю, спасет ее. И вот девочка убежала ночью из детдома и пошла к Юле. Она очень боялась, что ее поймут, боялась бродячих

собак и злых людей.

Шла она пять ночей, а днем спала в кустах. На шестой день дошла. Юлю она действительно нашла бледной и худенькой, как былинка, всю покрытую какой-то экземой. Сестры бросились друг другу в объятия, сцепились, боясь, что их разлучат. Ольга Арсеньевна увела их в свою комнату и взялась упрямить, чтобы Веру оставили в их детдоме. Это ей удалось, и Вера действительно выходила Юлю. Она отдавала ей свой сахар и масло, добывала иногда на работе в совхозе фрукты, меняла вещи, присланные матерью, на яйца и белый хлеб.

Когда Верочке исполнилось 16 лет, она ушла из детдома, и устроилась ученицей токаря на завод. В это время уже шла война и подростки заменяли ушедших на фронт рабочих. Верочка стала квалифицированным токарем и немного погодя взяла Юлю из детдома к себе на койку в общежитии. Маленькая мама воспитывала Юлю очень строго, следила за ее учебой. Софья Михайловна систематически посылала посылки, и девочки кое-как жили. В 1945 году Софья Михайловна уже работала в Магадане вольным врачом и имела большие связи, она сумела достать пропуск, и девочки приехали на Колыму к матери. Какие счастливые они были, когда дождливым днем августе 1945 года пароход привез их в бухту Ногаево!

Их встретила мать, меньше изменившаяся за 8 лет, чем они ожидали. Те же длинные блестящие каштановые волосы, те же нежные руки, те же добрые глаза!

У матери была хорошая комната, где все, начиная с кровати с новыми ночными рубашками под подушками и кончая духами на туалетном столике и вышитыми украинскими кофточками, было приготовлено для них. Мать варила им украинский борщ (как у нас дома) и вареники со сметаной, ласкала их, не могла наговориться. Месяц прошел в блаженной суматохе, воспоминаниях детства, рассказах о восьми годах разлуки, во взаимном узнавании. Первого сентября Юля пошла учиться в школу, и встал вопрос о том, что делать Вере. Она было заикнулась, что имеет квалификацию токаря по металлу и пойдет работать на авторемонтный завод, но мать в ужасе заткнула уши.

— Хватит, мы с тобой намучились. Теперь все будет по-другому. Я устрою тебя на легкую работу — секретарем в управлении Дальстроя, — и ты поступишь в десятый класс школы рабочей молодежи. (Верочка окончила только 9 классов.) А потом посмотрим. Ты ведь хочешь учиться, чтобы быть врачом. Это и моя цель — дать вам образование, как хотел папа.

И Верочка поступила секретарем в управление Дальстроя. На новой работе Вера столкнулась с нравами, специфическими для Колымы. Там были две категории работников: бывшие заключенные и договорники. Бывшие заключенные работали обычно на участках, требовавших усиленного труда — бухгалтерами, машинистками, сметчиками. Их звали "работяги". Договорники, очень часто люди без всякой квалификации, но с прекрасными анкетами, занимали должности начальников отделов, секретарей и т. п. Бывало и так, что главный бухгалтер был договорник, а его помощник — бывший заключенный. Работал помощник, а зарплату получал вчетверо ниже своего начальника, который представлял. В плановом отделе заведующей была жена начальника отдела кадров, которая не только не смыслила в работе, но не считала нужным даже высидеть свои 8 часов. Часто в рабочее время ее можно было встретить в магазинах или найти дома, где под ее наблюдением дневальный (у ответработников были дневальные из заключенных) оклеивал обоями стены или делал генеральную уборку. Но работа от этого не страдала, рядовым плановиком работал бывший экономист из Госплана. Это был тихий, запуганный человек, готовый сидеть в отделе день и ночь и работавший, наверное, не за двоих, а за троих.

Верочку приняли как свою договорники, а бывшие заключенные, запуганные лагерем, мало с ней разговаривали. Но Вере чужды были интересы новых знакомых, сводившиеся к романам и нарядам, ее коробило их пренебрежительное отношение к бывшим заключенным, в которых Вера видела таких же людей, как и ее родители.

Вера работала в одном помещении с бухгалтерией. Делами в бухгалтерии заправлял помощник главбуха Андрей Петрович Шелест, красивый, породистый, человек широкой натуры. Он не имел в прошлом политической статьи — сидел за растрату. "Бытовики" чувствовали себя гораздо более полноправными людьми, чем "враги народа".

Напротив Андрея Петровича за двумя небольшими, тесно поставленными столами сидели два счетовода: Симочка — красивая молодая женщина, жена договорника-инженера, и Ольга Ивановна — женщина лет пятидесяти, недавно вышедшая из лагеря, бледная, плохо одетая.

Шел обычный рабочий день. Андрей Петрович шелкал костяшками, Ольга Ивановна заполняла картотеку, а Симочка весело болтала с Офицеровым, блестящим и нарядным лейтенантом НКВД, который Верочке ужасно не нравился, он казался ей похожим на Дантеса.

Офицеров, нагнувшись к уху Симочки, рассказывал ей что-то смешное, поглядывая уголком глаза на Ольгу Ивановну. В это время Ольга Ивановна встала с места и подошла к Андрею Петровичу за какой-то справкой. Тотчас же Офицеров сел на ее место и, развалившись на стуле продолжал болтать с Симочкой. Ольга Ивановна вернулась и попросила Офицерева освободить ей рабочее место. Он небрежно буркнул: "Подождете", продолжал болтать с Симочкой. Ольга Ивановна стояла растерянная, с красными пятнами на лице. Она и возмущена была его наглостью и боялась вступать с ним в пререкания, и не могла найти слов. Наконец она все же решительно сделала шаг к своему столу и хотела что-то сказать, но в это время Андрей Петрович, наблюдавший всю сцену, самым любезным тоном позвал ее:

— Будьте любезны, Ольга Ивановна, дайте мне проводку за октябрь 1942 года, номер такой-то...

Ольга Ивановна искала проводку, подала ему и хотела опять пойти к своему столу, прочно занятому Офицеровым, но Андрей Петрович крепко ухватил ее за руку и начал что-то длинно объяснять, а сам время от времени шептал: "Стойте. Не связывайтесь!" Ольга Ивановна вырвала руку, а Андрей Петрович сладким голосом говорил:

— Я хочу, чтобы вы, уважаемая Ольга Ивановна, составили картотеку по всем проводкам материальных ценностей за 1941 год и далее до 1944 года. Извольте видеть, они нам понадобятся для проверки баланса... — медленно и долго объяснял он. Эту сцену наблюдала Верочка, а Офицеров, который продолжал шептать что-то смешное Симочке, уголком глаза смотрел на Ольгу Ивановну.

Выдержав какое-то время, достаточное, по его мнению, чтобы проучить "обнаглевшую" Ольгу Ивановну, Офицеров встал, поцеловал руку Симочке и, бросив Ольге Ивановне:

— Теперь садитесь, — вышел из бухгалтерии, сверкая мундиром, глазами, сапогами, источая запах духов, вина, кожи здорового чистоплотного самца. Все продолжали работать, как будто ничего не произошло. Минут через 20 после ухода Офицерева кончился рабочий день.

Все эти двадцать минут Вера ерзала на стуле и не знала, как ей подойти к Ольге Ивановне, в каких словах выразить свое возмущение Офицеровым и Симой, свое сочувствие. Ничего так и не придумав, она ждала момента.

Первой, как всегда, упорхнула Симочка. Ушел Андрей Петрович, помахав на прощание рукой Ольге Ивановне и весело сказав:

— Учитесь колымской жизни. То ли еще бывает. Ольга Ивановна собиралась тоже уходить и натягивала какой-то старый плащ поверх лагерной телогрейки. Верочка подошла к ней, обняла, потянулась губами в щеку и, всхлипнув:

— О гад! О, какой гад! — стремительно выбежала на улицу.

К ее удивлению, мать не очень возмутилась, когда вечером она рассказала о происшествии в управлении. Софья Михайловна только грустно покачала головой и сказала:

— Да, Верочка, такая здесь жизнь. Когда я прихожу лечить ребенка, они — сама любезность, а в глубине души считают нас последними людьми. Приходится делать вид, что

не замечаешь их хамства. Иначе жить на Колыме нельзя.

В вечерней школе у Веры был приятель — Иван Колосов. Он был спецпоселенцем. Спецпоселенцами, т. е. людьми, приговоренными к принудительному поселению без права выезда, в 45-м — 46-м годах были в основном военнопленные, освобожденные нашими или союзными войсками.

Иван с начала войны и до конца 43-го года сражался, был под Сталинградом и даже получил орден Красного Знамени. Потом был ранен. Выздоровев, снова воевал и в начале 44-го года, тяжело раненный, попал в плен. Пережил все ужасы плена. Его освободили американцы. Иван рассказывал Вере, как пленные отдыхали от гитлеровского лагеря смерти в зоне у американцев, где было и сытно и свободно, но как сильно тянуло их на родину! Как ползли слухи, что всех, кто возвращается из плена отправляют в лагерь. Как он, горячий комсомолец, спорил и доказывал, что это вражеская пропаганда, что не может человек отвечать за то, что, тяжело раненный, попал в плен, что надо верить советским офицерам, которые приезжали отбирать пленных для репатриации. А они говорили:

— Родина ждет вас. Ваши семьи ждут вас. Иван смело шагнул вперед, когда советский представитель спросил:

— Кто хочет вернуться на родину?

Репатриантов посадили в поезд, украшенный лозунгом "Родина ждет вас!" В Негорелом пересадили в теплушки, заперли и повезли на Колыму. Во Владивостоке они пять месяцев сидели в следственной тюрьме. Большинство попали в лагерь. Ивану повезло. Он оказался в плену тяжело раненным, и ему разрешили "вольно" жить на Колыме без права выезда.

И вот Иван, провоевав почти четыре года, вместо того, чтобы жить с матерью и братьями в станице на Кубани, вместо того, чтобы учиться и стать инженером, как мечтал, работал слесарем на авторемонтном заводе в Магадане, жил в общежитии, где, кроме пьянства, не знали развлечений, и с ужасом чувствовал, что его все больше затягивает водка. Обида, поправное чувство справедливости кипели в его душе. Случалось, он тяжело срывался. Как-то в ответ на довольно обычное замечание "зря у нас не сидят", он избил пожилого человека, договорника, просидел 15 суток под арестом и твердо заработал репутацию хулигана. Зимой 1945 года он решил поступить в десятый класс вечерней школы и там подружился с Верой.

Первое, что она потребовала от друга, — раз навсегда забыть водку. Иван радостно навсегда подчинился Вере, водка ему перестала быть нужна, ведь каждый день его ждала радость встречи с этой чудесной девушкой.

Когда Верочка, возмущенная, рассказала ему о происшествии в управлении, Иван реагировал не так, как Софья Михайловна. Он сжал зубы, так что они заскрипели, сжал кулаки и сказал:

— Дождется он у меня своего часа, гад. А ты, Вера, уходи оттуда. Зачем тебе с этими гадами вместе быть, иди к нам на ремзавод токарем.

И Верочка, не сказав матери ни слова, пошла токарем на завод. Теперь они проводили с Иваном вместе целые дни — днем на заводе, вечером в школе. Софья Михайловна, конечно, узнала об увлечении дочери. Она с ней говорила, убеждала, что Иван малограмотный парень, что он сильно пил и хулиганил, что у него в жизни нет никаких перспектив. На Веру ничего не действовало. И вот, когда Софье Михайловне доложили, что видели, как Верочка с Иваном целовались на лавочке за забором школы, Софья Михайловна пошла к начальнику управления Дальстроя и рассказала ему, что ее дочери грозит гибель из-за ничтожного мальчишки-алкоголика, спецпереселенца Ивана Колосова. Начальник управления, у которого Софья Михайловна лечила детей, с удовольствием ей оказал ничтожную услугу:

— Не беспокойтесь, дорогая. Завтра же его как ветром сдует. Конечно, надо оградить вашу прелестную дочь от этого бандита.

И назавтра Иван загремел на север в забой. Верочка показала мне письмо Ивана, оставленное ей перед разлукой

"Прощай, моя Вера, — писал Иван. — Напрасно я размечтался, что найдет ответ в твоём сердце моя беззаветная любовь, то, что я был и буду человеком, несмотря на мое ужасное, позорное положение. Размечтался, что нашел друга, жену на всю жизнь. Я знаю, ты меня любишь, но твоя мать, конечно, никогда не примирится с тем, что ее красивая, умная дочь, перед которой открыта дорога к образованию, к жизни в столицах, на которой с радостью женится кандидат наук или полковник, выйдет замуж за человека бесправного, человека без образования, да еще известного как не дурак выпить.

Видно, мне доживать жизнь с матом, с водкой, в тяжелой работе, в грязи. Прощай, моя Вера. Прощай навсегда!"

— Что же вы ему ответили на это письмо, Верочка? — спросила я.

— А я ничего не ответила. Я собралась, села на попутную машину и поехала к нему на прииск.

А дальше было так.

На прииск Верочка приехала в воскресенье утром. Грузовик довез ее до столовой, и там ей сказали, что бригада, в которой работает Колосов, живет в бараке № 2. Она подошла к низкому деревянному строению. Вошла в тамбур. Из барака слышались выкрики, обрывки песен, хохот. Никто не услышал ее стука. Она вошла. Помещение было темное, низкое, грязное. По стенам нары с какими-то тряпками вместо постелей. Человек двенадцать мужчин сидели за столом. На столе спирт, куски селедки на газете окурки, хлеб. Кроме мужчин за столом были еще две намазанные пьяные женщины, каждая в обнимку с двумя мужчинами.

Иван сидел спиной к двери, но Вера сразу его узнала и с ужасом смотрела, как он пил из стакана спирт, запивая его водой. Одна из женщин поймала Верин взгляд, и сипло завизжала:

— Ванька, блядь буду, если это не твоя маруха!

Иван обернулся и, увидев Веру, побледнел. Все загалдели:

— Ванька, точно, это к тебе! Ишь, какая краля!

Иван подошел к Вере. Хмель с него слетел. Он взял ее за руку и вывел из барака.

— Зачем, зачем ты приехала? Убедиться, что мать твоя права и я пьяница и хулиган?

— Не говори глупостей. Пойди умойся и оденься, я тебя подожду.

Иван ушел. К Вере подошел мужчина лет тридцати пяти.

— Что, испугалась, на нашу жизнь гляючи? А то, что здесь и делать больше нечего, как только спирт хлестать, ты подумала? А твой Иван золотой парень, я тебе точно это говорю. Он мне про тебя рассказывал, я не верил, а теперь вижу — правду говорил.

Мужчина ушел.

Вышел Иван. Он был бледен, смущен, убит.

— Зачем приехала?

Вере было мучительно жаль его.

— Пойдем в загс, регистрируемся. Иван потупил голову.

— Жалеешь? Нету здесь загсов.

— Все равно, я приехала, чтобы выйти за тебя замуж. Пойдем к начальнику прииска, к оперуполномоченному. Есть же здесь какое-нибудь начальство!

— Так что пришлось обойтись без загса. Пошли к оперуполномоченному да к начальнику прииска, все рассказали. Начальник дал Ивану три дня на свадьбу. Опер написал какую-то справку, что я являюсь женой Колосова. Товарищи очень деликатно поступили — все из комнаты ушли, где уж ютились, не знаю. Три дня мы прожили. А вернулась я домой, что было! Мама чуть с ума не сошла. Конечно, ее тоже можно понять. Она натерпелась горя, хотела для меня благополучной жизни. Только меня она совсем не понимает. Вот спровадила меня за бабушкой на материк, надеется, забуду я Ивана. Ведь мы с ним и не расписаны, можно просто разойтись. А я его никогда не забуду. Учиться-то я и сама хочу, а только с Иваном мы соединимся.

— А не сопьется он?

— Нет. Вы не знаете его. Он сильный и верный. Я ему деньги велела копить, чтобы мне

приехать на Колыму. — Она засмеялась лукаво и счастливо. — Теперь он на тот спирт и копеечку пожалеет. Да он не на век на прииске. Кончится промывочный сезон, снова на заводе будет работать, будет учиться. Нет, не сопьется мой Иван. Добьемся мы, будем вместе. Нужны мне полковники и кандидаты наук! Мне нужен Иван, а уж как я-то ему нужна! Добьемся мы, будем вместе.

Я глядела в ее смелые, ясные глаза и верила: она добьется.

Возвращение

Итак, в начале июля 1946 года я выехала с Колымы. Ехали мы целый месяц: 6 дней пароходом, 19 дней поездом, да еще ждали 5 дней в порту Находка, пока сформируют эшелон.

Я жадно глядела на людей, которые были эти годы "по эту сторону", пережили войну и не знали лагерей.

Люди были огрубелые, измученные. Удивило, что в очереди за кипятком женщины, поругавшись, кричали: "Ты человек или милиционер?"

В наше время (до 1936 года) милиционером не ругались, тогда было "моя милиция меня бережет".

Один раз на перроне ко мне подошел человек, махнул рукой по направлению к востоку и сказал:

— Оттуда? — и протянул мне пачку чая. — Возьмите, пожалуйста, возьмите. Разве мы не знаем, сколько зазря маялись?

Человек был в старой военной гимнастерке. С виду рабочий лет сорока.

Я телеграфировала домой со всех остановок, где был телеграф, но меня не встретили. В последний день, где-то около Ряжска, нас загнали в тупик, и мы простояли 18 часов. Потом повезли по Окружной дороге к Рижскому вокзалу, и утром 6 августа мы подъехали к Москве. Никого не встречали. (Для того нас и кружили.) Я была так растеряна, что не знала, как доехать до дому (а до дому шел трамвай № 25). Какой-то мужчина взялся меня доставить до дому за 200 рублей и доставил за полчаса на трамвае.

Я вошла в свою квартиру. В квартире была одна старушка родственница. Мать с отцом и дети были на даче, сестра и брат двое суток встречали меня на вокзале и уехали передохнуть.

Через пятнадцать минут за мной приехала жена брата, а еще через час собрались все родные, и все удивлялись, что я не седая старуха, не истеричка, не плачу, не кричу, а разговариваю, как все.

Сестра рассказывала, что они с братом встречали много поездов и подходили ко всем старушкам, им казалось, что это я (а мне было 44 года). Я сбросила лагерное платье, жена брата дала мне свой синий английский костюм и желтую вязаную кофточку. Тогда я только была рада, что прилично оделась, но потом оказалось, что костюм мой выбран необыкновенно удачно.

Мы поехали на дачу. Дети встречали все поезда уже третий день. Сестра сказала мне, что дочь одета в голубое платье, а сын в желтую рубашку. Поезд подходил к станции Соколовская. Я глядела во все глаза. На платформе было много людей, но я не находила своих ребят. Вдали бегали какие-то мальчик и девочка, но я не могла понять, мои это или нет. Когда поезд остановился, на меня налетела высокая девочка, почти девушка (ей было пятнадцать лет) и каким-то неестественным голосом закричала:

— Мама! Мама? Мама!

Сестра сказала:

— Шурик, что же ты?

И подошел парень, высокий, нескладный, с ломающимся голосом. И у парня были глаза не то мои, не то моего мужа. И еще губы он поджал, как отец, когда волновался...

Мы вошли в калитку нашего сада. На террасе сидела в кресле мама, а сзади стояла

старшая сестра — врач, со шприцем наготове (боялась, что у матери не выдержит сердце).

Больше всех изменилась мама. Из крепкой шестидесятилетней женщины, которая могла перестирать сто штук белья и натереть полы не хуже полотера, она превратилась в древнюю старуху, не встающую с кресла.

— Ты, ты, — сказала мама, и слезы покатались у нее из глаз. — Господи, дожила! Дожила! Ты, ты!

Я подбежала, встала на колени, уткнулась головой в ее грудь, в ее руки, вдыхала ее запах.

— Мама!

А она боялась нарушить счастье встречи сердечным припадком, прижимала руки к сердцу, беззвучно плакала и говорила:

— Дожила, дожила.

Отец был в санатории в Болшеве. Он ослеп на один глаз, а на другом глазу созревала катаракта. Перед операцией снятия катаракты его решили подлечить. Назавтра я с детьми поехала в санаторий. Я с сыном села на скамейку в саду, а дочку мы послали за бабушкой, чтобы она его подготовила. Через несколько минут показалась высокая фигура отца. Он почти бежал, вытянув руки, как слепой, и кричал:

— Где, где?

Эллочка шла за ним и растерянно говорила:

— Тише, бабушка, ты же обещал мне не волноваться!

Я подбежала к нему, подхватила его, мы оба плакали. Люди говорили:

— Наверно, дочка с фронта пришла.

Вечером за столом я спросила:

— Правда ли, что Сталин очень болен?

Никто не знал, а сын ответил очень многозначительно:

— Я не знаю, болен ли он, но если бы он был болен и нужно было бы отдать ему свою кровь и умереть, я это сделал бы.

Я поняла, что это мне урок и предупреждение, и замолчала. Еще помню слова сына. Я рассказывала, что в нашем эшелоне стоял у дверей теплушки парень в пиджаке, накинутом на плечи. Как-то этот пиджак слетел, и парень прыгнул за ним, так и отстал от поезда. Сын заметил:

— Наверное, в кармане был комсомольский билет. Я тоже прыгнул бы.

В другой раз я его спросила:

— Шурик, ты помнил меня, папу, нашу прежнюю жизнь? Ты вспоминал нас?

Он ответил резко:

— Нет, я ничего не помню, не вспоминал никогда.

А потом, недели через две:

— Мама, ты нарочно надела синюю юбку и желтую кофточку?

— Почему ты так думаешь?

— Так ведь ты ушла в синей юбке и желтой кофточке, и я был уверен, откроется дверь, и ты войдешь в синей юбке и желтой кофточке. Так оно и вышло.

Я только тут вспомнила, как я была одета при аресте. А он-то помнил. Значит, вспоминал.

С дочерью сложилось все очень просто. Мы спали с ней на одной кровати, она прижималась ко мне своим нежным полудетским-полудевичьим телом, я вдыхала аромат ее волос, губ, и мне казалось, что я не расстаюсь с ней ни на один день. Она была убеждена, что маме надо все рассказывать, и вскоре я узнала все ее пятнадцатилетние секреты, горести и радости. Это было ясное, прелестное существо, изливавшее на меня море нерастроченной нежности.

С сыном было сложнее. Я боялась рассказать ему о том, что открылось мне "по ту сторону". Вероятно, я смогла бы убедить его, что многое в стране неблагополучно, что его кумир — Сталин весьма далек от совершенства, но ведь ему было семнадцать лет. Если бы я

ему все объяснила и он согласился со мной, смог ли бы он аплодировать при упоминании Сталина, смог ли бы писать "письма" Сталину, говорить на политзанятиях "мудрый, гениальный", говорить, что у нас в стране справедливость.

А если бы не смог, он погиб бы!

А если бы смог, какой надлом, какое двурушничество, какая двойная жизнь! Нет. На это я не могла его обречь. И я боялась быть с ним откровенной. Но чем-то я постепенно завоевала его душу. Он внимательно присматривался ко мне. Примерно месяца через три он сказал мне:

— Мама, ты мне нравишься.

— Чем, сынок?

— Тем, что ты не похожа на тетю Соню.

Соня была наша дальняя родственница, у которой был арестован муж, когда-то очень большой человек. Соню выселили из ее квартиры в доме правительства, но почему-то не выслали из Москвы.

Она ходила по знакомым и родственникам, побиралась, плакала, вспоминала былое величие. Шурик не выносил ее заискивающего тона, ее сенсационных сплетен, ее жалких попыток поддержать увядающую красоту губной помадой и какой-то лиловой пудрой. В свое время она бывала за границей и теперь шепотом говорила, как там хорошо, а у нас все плохо.

Сын почувствовал правильно. Даже тогда мне не казалось, что у нас все плохо. О, как любила я Москву, в которой жила как на вулкане, как любила я жизнь, в которую меня не пускали, как я ненавидела, как остро я ненавидела тех, кто изуродовал нашу прекрасную жизнь, кто заткнул рот и связал руки народу.

Я твердо знала, что, погостив две недели, я обязана уехать куда-нибудь километров за 200–250 от Москвы, где меня пропишут. Но кругом было так безмятежно, мы жили на даче, где не было ни одного чужого человека, казалось, никто не обращал на меня внимания.

Несколько раз я порывалась уехать. Один раз отправилась даже в город Гусь-Хрустальный, сняла там комнату и прописалась. Стала искать работу, что было нелегко. А потом мой хозяин мне сказал:

— Поезжайте-ка вы, Ольга Львовна, в Москву, если вас будут спрашивать, в тот же день получите от меня телеграмму. Тут многие так делают.

Я заплатила ему за три месяца вперед, поехала в Москву и стала жить в семье.

Мать была, как ребенок. Она плакала, когда я уезжала, и говорила:

— Зачем тебе уезжать? Никто не узнает, что ты живешь у нас. А если и узнают, скажем, что ты приехала проведать больную мать. Кто это осудит?

Я мучительно думала, что на даче было относительно безопасно, а в городе, в доме, где меня знает так много людей, начнутся разговоры, кто-нибудь догадается, что я живу без прописки, придут, схватят, в лучшем случае, я снова буду обречена на одиночество, на изгнание, на бездомность, неприкаянность. Говорят, что иногда ловят таких, без прописки, высылают в двадцать четыре часа, а при повторном нарушении могут даже отправить в лагерь. Надо бы уехать. Но куда? Как?

Сколько раз я замирала от малейшего стука или неожиданного звонка и наивно пряталась за шкаф! По ночам я клялась себе уехать, а утром опять сидела у постели умирающей матери и обещала ей:

— Не бойся, мамочка, я не уеду, я буду с тобой!

Самые горькие минуты мне доставлял горячо любимый отец, который в свои восемьдесят лет не очень хорошо разбирался в современной жизни. Не раз я заставляла его на скамеечке у калитки нашего сада с каким-нибудь старичком или старушкой за увлекательной беседой, и эти его старички глядели на меня со слезами на глазах и говорили: "Страдалица, невинная, наконец-то вы вознаграждены судьбой! У вас такие чудесные дети, такие родители!"

"Папа, опять ты рассказывал обо мне! Я же умоляла тебя молчать!" — упрекала я его.

"Ты какая-то странная! Иван Матвеевич (или Марья Петровна) чудеснейшей души человек; он тебе так сочувствует, а ты его подозреваешь, что он может донести!"

После дачи мы переехали в город, в квартиру на Петровке, где я прожила шестнадцать лет. Естественно, что многие знали меня и мою горестную историю. Я старалась днем не выходить на улицу. Но отец-то мой имел и там много чудесных приятелей, и вот не раз ко мне подходили во дворе какие-то старушки и таинственно шептали: "Не бойтесь, никто на вас не заявит, живите спокойно, страдалица невинная!"

Можно себе представить, как спокойно я могла жить, но вместе с тем я не имела сил уехать от прикованной к постели матери, от ослепшего отца и (наверное, это было самым сильным) от детей, которых я никогда не любила так сильно, как в этот период взаимного узнавания, сближения, обретения.

Самое удивительное, что я прожила в Москве на Петровке три года и на меня никто не донес, хотя о моем существовании знали десятки людей. Все эти три года я жила в непрерывном страхе.

Надо сказать, что я все чаще стала вспоминать Николая. Вначале встреча с детьми и родными полностью отключила меня от мыслей о нем. Он писал мне довольно сухие, краткие письма (он вообще не умел писать теплые письма). У меня даже было подозрение, что в его жизнь вошла другая женщина. Ведь он был еще достаточно молод (44 года), красив, обаятелен. К тому же в моем сердце жила обида за наше прощание. Простились мы несколько странно. Ждали шофера, который должен был за мной заехать. Николай играл в шахматы с товарищем. Когда пришла машина, он крикнул товарищу: "Не уходи, окончим партию". Он проводил меня, поцеловал, вернулся к шахматам. Меня больно задело такое прощание. Никак не могла забыть игру в шахматы и его равнодушие к моему отъезду. Я была обижена. Хотя он сказал: "Жди меня, я к тебе приеду", — я не придавала значения этим словам, они прозвучали просто как "До свидания". К тому же я знала, что выезд с Колымы, да еще мужчине, практически невозможен. Много позже я поняла, что поведение Николая при прощании было для него ширмой: он был слишком горд, чтобы позволить мне себя жалеть.

И вот, когда я считала наши отношения законченными он с первого же дня начал искать все возможные пути, чтобы вырваться с Колымы. Получив отказы во всех официальных инстанциях, он написал своим друзьям (некоторые из них занимали достаточно видные посты), но никто не смог ему помочь. Так прошло года два. Наконец ему "повезло": он заболел гриппом, и к нему пришла молодая вольная врач, недавно присланная по распределению вместе с мужем, тоже врачом, на Колыму. Она не подозревала, что за люди, в каком количестве и в каких условиях содержатся в лагерях. Николай просветил ее. Сначала она ужаснулась и усомнилась, но не поверить Николаю было невозможно. У него был особый дар рассказывать так, что все сомнения пропадали. Она попала под его влияние, стала часто приходить к нему, они подружились.

Когда все попытки получить разрешение на выезд с Колымы окончились неудачей, Николай узнал, что его приятельница-врач формирует группу туберкулезников для отправки на материк. Он стал уговаривать ее включить его в эту группу. Она долго сопротивлялась, понимая, что, помимо всего прочего, он может заразиться. Но Николай сказал, что тогда он просто погибнет: он решил объявить голодовку и не выходить на работу, за что получил бы статью 58–14 (саботаж на производстве). Зная Николая, она поняла, что он обязательно так и поступит, и сдалась. Она послала на анализ чужую мокроту, и Николай был включен в партию.

Ехали они в страшной антисанитарии. На пароходе их поместили в маленькую каюту, где они спали впрытык друг к другу. Посуда не мылась, а слегка полоскалась холодной водой. Естественно, что Николай заразился, хотя сильный организм далеко не сразу дал болезни проявиться.

Итак, в один прекрасный день у нас на Петровке появился Николай.

Встреча наша с ним была очень теплой.

Он очень понравился моим родителям и детям. Дочка, раскрыв рот, слушала его рассказы, а рассказчик он был замечательный.

Жить в Москве ему, как и мне, было нельзя. Один из его друзей работал директором заводика в небольшом городке в 200 км от Москвы. Николай уехал туда и устроился на работу, снял комнату. Он приезжал к нам в Москву, звал меня к себе, но я никак не могла решиться расстаться с детьми и родителями и продолжала свое нелегальное существование.

Даже мама настаивала, чтобы он забрал меня к себе, она видела, как я боюсь жить в Москве без прописки, как прячусь от каждого звонка и стука. К тому же в это время в Москве шли аресты. Говорили, что к семидесятилетию юбилею Сталина чистят Москву. Я знала кое-кого, кто, как и я, жил без прописки. Мы заматались. Некоторые срочно уехали (между прочим, это не помогло, арестовывали даже по деревням). В моем узком кругу было два случая самоубийства — покончили с собой Ольга Радович и Липа Каплан. Я поняла, что надо уезжать.

Возможность жить законно, без страха проверок, доносов, жить с Николаем, которого недавно считала потерянным навсегда, — это ведь счастье!

Мы решили уехать. На 30 августа Николай купил билеты, должен был за мной приехать.

29 августа, когда я сидела на даче у постели матери и мирно читала ей книгу, вошли двое молодых людей в хорошо сшитых коверкотовых костюмах и попросили меня следовать за ними...

Я увидела искаженное ужасом лицо матери. Она начала:

— Она не живет здесь, она навестила больную мать. Я больна, я, наверное, скоро умру... Она навестила... Она...

У мамы начался сердечный припадок. Она задыхалась и в промежутках, когда могла вздохнуть, цеплялась за мою руку и продолжала свою бесполезную, святую ложь, продолжала защищать свое дитя.

— Она навестила... Я умираю... Отпустите ее... Она не живет с нами... Она навестила...

Я осторожно оторвала руку мамы и встала.

— Я иду с вами.

Подошел отец. Он смотрел своими полуслепыми глазами. Ему только недавно сняли катаракту, и он чуть-чуть видел. На его бедных глазах были слезы.

— Товарищи, я объясню вам, она приехала навестить мать...

Его не слушали.

— Мать больна, мать, и я вот не вижу. Она приехала навестить мать.

Больше я никогда не видела ни матери, ни отца. Вскоре после моего вторичного ареста они оба умерли.

— Возьмите с собой вещи, ведь вы знаете, что надо, вас не учить.

Я подошла к шкафу.

Зачем я буду брать с собой вещи? Они пригодятся детям. Ведь совершенно ясно, что я не буду жить. Второй раз пережить это? Нет. Я не взяла ничего, кроме полотенца, зубной щетки и пачки папирос. Я твердо знала, что мне надо умереть.

Но как?

Повторный арест

Итак, 29 августа 1949 года я была вторично арестована и водворена в тюрьму на Малой Лубянке. Мне не предъявили обвинительного заключения, месяц не вызывали на допрос.

Наконец меня вызвали, и следователь мне сказал, что на городской квартире, где жили мои дети, был произведен обыск и изъят лист бумаги, где что-то было написано по-немецки. Лист он передал мне. Что там было написано, я не разобрала, но узнала почерк сына. С ужасом вспомнила, что сын читал "Mein Kampf" Гитлера. Может быть, выписывал какие-то

цитаты из этой книги?

— Кто это писал? — спросил следователь. Еще не успев подумать, я ответила:

— Я!

— Переведите.

Легкое дело! Я немецкий язык почти не знаю, почерк у сына неразборчивый. Что же делать? Мучительно вглядываюсь в листок и вдруг разбираю несколько слов. Это стихотворение Гейне "Лорелей", которое я учила в гимназии. С души спал камень.

— Я ошиблась, — сказала я. — Это писала не я, это писал Гейне.

Глаза следователя загорелись, как у собаки, напавшей на след.

— Имя, отчество! — заорал он. Я так была счастлива, что мне даже захотелось схулиганить.

— Мы его звали просто Генрих, — сказала я. — Отчества не помню.

Или на лице моем было что-то написано, или словосочетание "Генрих Гейне" что-то следователю напомнило, но он замолчал и позвонил. Вошел стрелок.

— Уведите заключенную.

Меня увели.

Так окончилось мое второе следствие. Меня больше не вызывали. Обвинения не предъявляли. Но соседки по камере сказали мне, что, судя по всему, я "повторница", таких сейчас сидит много, и им грозит только ссылка, т. е. судьба не столь страшная, как лагерь, в ссылке люди живут вольно и работают по найму, только прикреплены к одному месту и должны еженедельно отмечаться у коменданта. Страшно было думать, что могут загнать в глухую деревню, так далеко, что не увидишь своих родных, но все же предстояла какая-то жизнь, а не лагерная мука.

Я уже мечтала, что буду работать, читать, может быть, найдутся какие-нибудь друзья, что у меня будет свой угол. Я измучилась от нелегальной жизни в Москве в течение трех лет, когда я каждую минуту ждала ареста.

Однако приговора еще не было, хотя я сидела в тюрьме уже два месяца, и я очень боялась: вдруг что-нибудь может измениться, и я попаду в лагерь? Страх этот совсем бы меня доконал, если бы я не решила твердо, что в лагерь я не пойду, а покончу с собой. Смерть меня не пугала: слишком уж я устала от жизни, мысль о возможном выходе успокаивала.

В конце октября меня вызвали с вещами и повезли в Бутырскую тюрьму. Было 3 часа ночи. В тюрьме были новые порядки: перед входом в камеру нужно было вымыться. Надзирательница повела меня в душ.

— Мойтесь, — сказала надзирательница. — Я включу воду. — И вышла из душевой, заперев за собой дверь.

Я доверчиво встала под душ, как вдруг полилась совершенно холодная вода. Я хотела выбежать, но дверь в раздевалку была заперта. Я стучала, кричала, но никто не отвечал, а на меня лилась ледяная вода. Наконец дверь открылась, и душ был выключен.

Этот маленький эпизод почему-то переполнил чашу моего терпения, я дрожала от холода и не могла успокоиться. Из глаз моих лились слезы.

Мы вошли в камеру. Все койки были заняты, никто не поднял головы.

— Посидите на скамейке, — сказала надзирательница, — через два часа подъем. Я села. Меня била лихорадка. Вдруг с одной койки встала женщина.

— Идите ко мне, ляжем вместе. Я легла в ее нагретую постель, но меня продолжало трясти. С трудом ответила я на ее вопросы о моей судьбе.

— Нам еще недолго томиться, в 1950 году будет война, большевиков свергнут, и мы будем на свободе.

— Почему вы так думаете?

— Вспомните, когда началась первая мировая война, — 1914 год. Сумма цифр 15. Вторая? 1941. Сумма та же. Третья будет в 1950 году, та же сумма. Это говорила у нас в Варшаве пророчица, а ее предсказания все сбываются. Вот так номер! К кому же я попала?

Чтобы переменить тему, я спросила, как ее имя.

— Ванда.

— Вы полька? Хорошо говорите по-русски.

— Я еще до войны успела поучиться в русской гимназии. Позднее специально училась русскому языку.

— А когда вас арестовали?

— После войны и дали срок 20 лет.

У меня мелькнула мысль: не в шпионской ли школе она учила перед войной русский язык?

— Кем вы работали в лагере?

— Дневальной. У меня ведь больное сердце!

Мне стало ясно, кто она. Чтобы попасть на должность дневальной сравнительно молодой женщине, нужно быть стукачом. А сердце? Ну кто в лагере обращает на это внимание! Чтобы прекратить с ней разговор, я делала вид, что сплю. Утром, поблагодарив за ночной приют, я отошла от нее в дальний угол, где мне дали койку, и старалась поменьше с ней сталкиваться. Она заметила мое отчуждение и обиделась.

По странной случайности я попала в Бутырках в ту же камеру № 105, где сидела в 1936 году. За прошедшие 13 лет обстановка сильно изменилась: если в 1936 году камера была грязная, вонючая, на веревках сушились лохмотья, люди по целым ночам плакали, кричали, говорили, ходили, спали вповалку на дощатых нарах, то в 1949 году все было приведено в идеальный тюремный порядок: стены и пол сверкали чистотой, спали на отдельных койках с матрацами, за малейшее движение в неустановленное время можно было попасть в карцер, каждое утро приходил врач и белым платком проверял, нет ли где пылинки, за плохую уборку дежурным тоже грозил карцер. Одним словом, тюремная культура была доведена до совершенства. На стену так и просилась доска с показателями соцсоревнования с другими подобными заведениями. Стало страшно: это была уже не катастрофа, вроде землетрясения, как в 1937 году, а упорядоченный быт, рассчитанный на годы.

После завтрака в камере разразился скандал, с истерикой, безобразной руганью, швырянием мисок о пол. Представление давала Мария Ивановна Синицына, седая, толстая, неопрятная, визгливая, изрыгающая безобразные ругательства.

. — Что это такое? — спросила я. — Почему вы ее не остановите?

— Ах, она такая нервная, она уже отбыла 10 лет в лагере и вторично арестована. (Я поняла, что она, как и я, "повторница", арестованная для отправки в ссылку.)

В это время женщина кричала:

— Не смейте меня останавливать. Вы еще ничего не пережили. Вот попадете в лагерь, увидите, будете ли там приличия соблюдать!

Все в панике жались по углам и с укором смотрели на молодую женщину, которая робко пыталась возражать Марии Ивановне:

— Все равно, хотя вы и нервная, а не надо безобразничать и ругаться. Все тут измученные и нервные.

Старая бросилась на койку с рыданием и визгом, а все, угнетенные и расстроенные, смотрели на нее, видя в ней свое будущее.

Я села на койку и стала наблюдать за своими товарищами по несчастью.

Состав арестованных резко отличался от того, который я помнила по 1936 году.

Если в 1936 году члены партии или жены членов партии составляли подавляющее большинство, то теперь их было процентов десять. Много было женщин, арестованных за связь с немцами (из-под фрицев, как их называли), были члены какой-то религиозной организации, в большинстве своем полуграмотные крестьянки, которые имели даже своего претендента на престол, какого-то Михаила, явно по годам не соответствующего Михаилу Романову. Очень много латышек и эстонок, презиравших и ненавидевших русских и державшихся особняком. Была группа коммунистов, которым, по всем признакам, полагалось сесть в 1937 году, но которые случайно уцелели и в один голос говорили, что они

были уверены в справедливости арестов 1937 года. Доказательством этой справедливости для них являлось то, что вот они не совершали преступлений и их-то не тронули.

Только эта немногочисленная группа в очень ослабленном виде переживала нечто подобное тому, что переживали мы в 1937-м, т. е. крах мировоззрения. В ослабленном виде потому, что им уже не раз была сделана прививка: не признаваясь самим себе, они потеряли ту безусловную веру в справедливость советской власти, которая была у нас. Они уже сотни раз подставляли под понятие "справедливость" понятие "целесообразность", у них уже вошел в сознание нелепый довод, что хотя данный человек невиновен, надо изгнать его из жизни для каких-то высших целей. Они уже очень хорошо понимали, что "лес рубят — щепки летят". И хотя страшно и больно было стать щепкой, но ничего противоестественного в этом не было.

Самая страшная была группа "детей". Им было по 6, по 8 лет в 1937 году, когда арестовали их родителей. Сейчас им было по 18–20 лет, и их взяли с формулировкой "за связь с врагами народа" и отправляли на 5 или 10 лет в ссылку. Они были комсомолками, они учились, они не знали, что сделали их родители, но им страстно хотелось доказать, что они такие же, как все советские девушки, нет, они из лучших, хотя родители их клейменные. Они почти все отлично учились. Были активными комсомолками. Они мечтали о подвигах, чтобы все узнали, что они преданные советские люди.

Я сначала не могла понять, откуда взялись эти девочки, а когда поняла, вот тут-то я узнала, что такое ужас. Я представляла свою дочь на таких же нарах, испуганную, ничего не понимающую. Еще страшней: я представляла себе сына, все понявшего, разочаровавшегося во всем, со смертной тоской и страхом в глазах. Вот когда я поседела!

Я всех спрашивала, не видел ли кто-нибудь тоненькую высокую девочку по имени Элла, и некоторые отвечали мне, что, кажется, такая девочка была. Значительно позже я поняла, что брали не всех детей репрессированных, а только тех, кто случайно попался на глаза, например, несмотря на то, что их не принимали в университет, сумели туда попасть, или тех, на которых были доносы за их вольные высказывания. Безо всяких же поводов брали детей очень важных "преступников". Мне встретились дети Косиора, Косарева, Артема Веселого, брата Бухарина (который, к тому же, был так безумен, что держал у себя отца Бухарина, а следовательно, и своего), дочь Раковского, а также ряд детей крупных работников МГБ. К счастью, мой муж не принадлежал к числу "врагов народа" такого ранга, так что мои дети арестованы не были.

Я смотрела на своих товарищей по несчастью и жалела их щемящей жалостью потому, что знала, что эти люди осуждены на тот страшный крестный путь, который я уже прошла. Они приводили доказательства своей невиновности, надеялись, что разберутся, а я знала, что приговор уже подписан, что все они обречены.

Вот сидит сорокалетняя, хорошо сохранившаяся женщина-литератор. Даже здесь она довольно элегантна, ходит в шелковой пижаме, укладывает волосы, спичкой подводит брови. Узнав, что я уже отбыла лагерь, она жадно спрашивает меня, есть ли в лагере возможность применить ее профессию:

— Ну, есть ли там стенгазета, какая-то культурная работа?

Бедная женщина! Я ясно вижу ее будущее: вот она, потеряв всю свою элегантность, неумело копает землю и гребет сено. Вот она в ватных брюках идет в строю, и соседки-уголовницы матерят ее за то, что она семенит и задерживает шаг...

Подходит старуха инженер. Авторитетно, но ища подтверждения, говорит:

— Не правда ли, техники используются по специальности? Ведь глупо было бы не использовать культурные силы?

Я себе представляю ее плетущей корзины или чистящей уборные и уклончиво говорю:

— Как когда.

Отводит меня в сторону Ольга Павловна Кантор. Она журналистка, старый член партии. В 1937 году уезжала на год в деревню к умирающей матери, и волна арестов в ее учреждении прокатилась без нее. Вернувшись, она застала опустошенной свою редакцию,

но, поскольку ее не тронули, она только удивилась, как могла быть настолько слепой, что не видела подрывной деятельности врагов. С тех пор она так и жила в блаженной уверенности, что все правильно, воевала, получила орден Красного Знамени, чуть не погибла в окружении и, если бы случайно не спаслась, так и умерла бы со спокойной душой.

Но, выжив, она в 1949 году была арестована и пошла по страшному пути, проторенному в 1937 году.

Она отводит меня в сторону.

— Вы вызываете во мне доверие. Вы прошли все это. Как вы думаете, как писать, чтобы дошло до Сталина? Он, конечно, ничего не знает, но каким путем написать ему?

О, сколько писали Сталину! Сколько взывали к нему, как к последней надежде, как к святыне, которая не может обмануть!

Если бы сделать выставку "писем к Сталину", она бы произвела впечатление посильнее, чем выставка подарков, и вправила кое-кому мозги!

Но как сказать этому малознакомому человеку, ведь она может сообщить следователю и я вместо ссылки получу лагерь по статье 58/10 за агитацию против Сталина!

Но мне очень хотелось сказать ей — такой человек, как она, достоин того, чтобы быть умнее и смотреть правде в глаза.

— Я больше вас уважаю товарища Сталина, — отвечаю я. — Как руководитель государства он не может не знать того, что знают все. Вероятно, ему не закрыт доступ в тюрьмы. Если ему что-то неясно, он может зайти и поговорить с арестованными, посмотреть, как идут допросы. Бедствие слишком массовое, тюрьмы не вмещают преступников. Нет, я слишком уважаю его, чтобы считать его дурачком, которого все обманывают. Это — его воля. Это — его ответственность. Это — его линия.

— Это ужасно! Тогда нельзя жить! С его именем мы умирали в боях. Потерять веру в него — это потерять веру в революцию.

— А может быть, он и революция — не одно и то же? — задаю я мефистофельский вопрос и оставляю ее осмыслить положение вещей самостоятельно. Объяснять опасно. Можно только намекнуть наедине, чтобы в случае, если об этом разговоре будет доложено следователю, все отрицать, что я говорила, и лишь утверждать, что все делается согласно воле Сталина, а это вполне легально.

Я подхожу к прелестной двадцатилетней девушке, эстонке Айно. История ее молодой жизни потрясает меня. Во время войны, когда Эстония была под властью фашистов, Айно и ее друзья горячо сочувствовали Красной Армии, радовались каждому поражению Гитлера, встречали Красную Армию как освободительницу. Еще до победы Айно и четыре мальчика, ее товарищи, уехали в Москву учиться. У Айно был очень хороший голос, и ее приняли в консерваторию. Мальчики поступили в технические институты. Жили они в разных общежитиях и каждый вечер встречались у памятника Пушкину. В июле на каникулы они поехали в Эстонию. То, что они там увидели, ужаснуло их.

Отправляли в ссылку целыми деревнями, аресты людей, боровшихся с фашистами, бесконечные доносы и репрессии, Насмотревшись на это, они решили бороться за Эстонию. Но как? Написать письмо в ООН, описав все несправедливости?

Айно, владевшая английским языком, письмо написала. Но как передать его за границу? Они искали путей, но найти ничего не могли. Однажды, когда Айно сидела на своем обычном месте встречи с мальчиками у памятника;

Пушкину, к ней подошел какой-то мужчина.

— Я несколько раз видел вас с вашими товарищами, — сказал он. — Как приятно наблюдать такую дружбу! Вы говорили по-эстонски. Я жил там, языка, конечно, не знаю, но понял, что вы эстонцы. Я очень люблю Эстонию.

Он начал восхищаться Эстонией и эстонцами и этим сразу подкупил Айно.

Она ему рассказала о том, что сейчас делается в Эстонии. Он так горячо сочувствовал ей, так возмущался, что она решила поделиться с ним намерением написать письмо в ООН. Он одобрил ее план и сказал, что у него есть возможность передать письмо в посольство

США. Она обещала завтра принести письмо.

Он ушел. Пришли мальчики. Они были рады ее "удаче".

На следующий день Айно принесла письмо, а ночью их всех арестовали. У следователя в руках было письмо. Надо было установить, кто его писал, т. е. кто главный виновник. Вызывали всех по очереди, и каждый мальчик заявлял: "Письмо написал я!" Вызывали Айно, и она их всех "разоблачила":

— Вызовите их всех и заставьте написать по-английски хоть две строчки. Вы сразу увидите, что они английского языка не знают, и написать письмо не могли. А я могу здесь у вас написать письмо целиком.

Вопрос был ясен.

Однако следствие только началось.

Выяснялось, кто сообщал подследственным факты о несправедливых арестах, выселении целых деревень и т. п. Арестовывались родственники и друзья подсудимых. Предъявлялись обвинения в измене родине, в терроре и шпионаже. Следствие велось по всем правилам: недельные лишения сна, многосуточные допросы на "конвейере", когда следователи менялись, а допрашиваемый должен был стоять на отекающих ногах и не мог даже опереться о стену, карцеры, избияния, очные ставки с несчастными, не выдержавшими и подписавшими ложные донесения.

Все это пережила и Айно. В камере она была очень сдержанна, боялась втянуть еще кого-нибудь в свое страшное дело, росшее, как снежный ком. Однако мы были народ "тертый" и по малейшему намеку понимали положение вещей. Все женщины, сидевшие в нашей камере, горячо жалели и полюбили Айно.

Было у нее еще одно качество, покорившее всех.

Как-то я попросила ее тихонько спеть. Она запела тихим, нежным голосом романсы Чайковского, Шуберта, Грига, Булахова. Но какой это был голос! Чистый, как хрусталь, выразительный, нежный. Камера замерла. Мы боялись дышать, чтобы не заглушить ее пение.

Охранник подошел к глазку и слушал, не прерывая ее. Когда она кончила, он открыл окошечко и для порядка гаркнул:

— Замолчать! В карцер захотела?

С тех пор в каждое дежурство охранника — любителя музыки Айно нам пела, и только если приходило начальство, он открывал окошечко и орал: "Молчать! Петь запрещается!"

Я не могу передать, чем было для нас пение Айно! Кусочком жизни, напоминанием, что кроме проклятой тюрьмы в мире есть красота.

Но увы! Через несколько дней Айно предложили готовиться с вещами на выход. Вещей у нее почти не было. Но все обитатели камеры хотели ей что-нибудь подарить, хотя у нас самих почти ничего не было. Кто нес пару чулок, кто носовой платок, кто косынку, кто полотенце. Прощаясь с Айно, многие плакали. Я укладывала в мешочек подарки, Айно подошла ко мне.

— Какие вы все хорошие! — сказала она, тронутая волной любви. Потом помолчала и тихо произнесла: — Но какие вы рабы!

Открылась дверь, и Айно увели. Она навсегда исчезла из моей жизни.

В камеру входит девочка. Худенькая девочка с косичками и тоненькими, как палочки, ножками. На вид ей лет 16–17. Девочка оглядывается и направляется в мою сторону. Я стремительно отворачиваюсь и иду прочь от нее. Нет, это не по моим нервам. Я не в силах смотреть в ее детские глаза, из которых непрерывно льются слезы. Целый день я ее избегаю, но вечером обнаруживаю, что она устроилась на койке рядом со мной. Она лежит на койке, неумело курит и плачет. Худенькие, цыплячьи плечи вздрагивают. Нельзя не заговорить с ней. Ее зовут Валя. Сегодня день ее рождения, ей 20 лет. Несложная повесть:

— Мне было семь лет, когда арестовали папу. Мама была в таком отчаянии, что я и тетя сторожили ее, чтобы она не выбросилась из окна. Она всем делилась со мной, хотя мне было всего семь лет. Она без конца говорила о том, какой папа хороший, как его мучают, как

страшно жить. Потом арестовали маму. Меня взяла тетя. Я должна была говорить, что мои папа и мама умерли. Наверное, меня запугала тетя, я не помню. Я только всегда знала, что, если узнают, что мои папа и мама в тюрьме, произойдет что-то ужасное. Может быть, меня будут бить, ругать, со мной никто не захочет играть. Мне всегда хотелось учиться лучше всех, быть лучше всех, тогда я "докажу". Что? Не знаю, но надо что-то доказать, чтобы не бояться всех, не чувствовать себя угнетенной.

Прошло это состояние угнетенности, неполноценности, когда я в старших классах школы стала выделяться как лучшая в учебе. Меня захвалили. А потом я полюбила. У него тоже были репрессированы родители, он тоже скрывал это от всех, но друг с другом-то мы были откровенны. Он любил меня, восхищался мной и говорил, что сразу понял, что я жертва величайшей несправедливости. И все, что на мне лежало позором, стало достоинством в его глазах. Я любила. И теперь все, все кончено?!

Боже, как мне было жаль Валю! Как мне было жаль всех этих девочек, которые уже не верят в справедливость, не видят ни малейшего проблеска в черной бездне, куда их толкает непонятная им черная, злая сила.

Постепенно на моей койке организуется молодежный девичий клуб. Мне очень страшно заработать вместо ссылки лагерь, но я не в силах удержаться и не утешать моих девочек. Я ругаю себя, даю себе слово быть сдержанной, а потом то одной, то другой говорю слова, которые проливаются бальзамом на раны их бедных сердечек и которые, если узнает о них следователь, обеспечат мне 10 лет лагеря.

— Безумные девочки, — говорю я, — вы считаете, что ваша жизнь кончена. Вам по двадцать лет. Через пять лет "его" не будет, а вам будет по двадцать пять, и вы будете жить и жить.

Девочки хором отвечают мне:

— Вы невероятный оптимист. Как вы не видите, что дело не в одной личности, а в системе? Уйдет он, останутся его соратники. Вы, что ли, будете выбирать новое правительство?

— Это противоестественно и длиться долго не может! — говорю я.

— Так вы, вероятно, думали и в 1937 году, но с тех пор прошло двенадцать лет, а все длится!

Довод внешне убедителен, но я всем своим существом знаю, что так не будет. Знаю потому, что на воле я не встретила ни одного человека с ненадреснутой верой в справедливость. Знаю потому, что вижу разницу между обитателями этой камеры в 1936 году и набором 1949 года. Я помню, как у всех, и у меня в том числе, была вера в непогрешимость советской власти, советского суда и особенно Сталина, вера, которая заставляла нас выдумывать несуществующие вины свои и своих товарищей потому, что легче было обвинить себя, чем нашу советскую власть, а в особенности "его", имя которого было синонимом революции, социализма, истины, справедливости.

Я знаю, что от крепкого, казалось, несокрушимого дерева осталась одна кора, а внутри все прогнило — достаточно толчка, чтобы рухнул этот колосс.

Я знаю это твердо, и это знание, эта уверенность передается.

Я люблю этих девочек с их ясными глазами, которые скоро приобретут тусклый, безнадежный тюремный взгляд. Я люблю их и жалею, жалею до острой боли в сердце. Я гляжу на них и представляю себе свою дочь, которая тоже, может быть, сейчас мечется в безумном страхе на тюремных нарах и ищет в глазах старших поддержки и утешения. И со всей силой материнской любви я отдаю этим девочкам всю свою душу, я хочу влить в них бодрость и веру в жизнь, в человека.

И я молно судьбу, чтобы около моей девочки был человек с такой же любовью, с такой же верой, как у меня, верой в то, что жизнь ее не кончена, что много юношей и девушек, которые сейчас сидят в роскошных квартирах и отцы которых творят это черное дело, позавидуют нашим бедным детям со страшными анкетами, детям, запертым в тюрьмы, гонимым с учебы, из комсомола, из общества себе подобных, как прокаженные.

Юные скептики из моего девичьего клуба издеваются надо мной, и я получаю прозвище "уникальный оптимист", а потом ночью то одна, то другая пробираются ко мне под одеяло, прижимаются своими худенькими девичьими телами, плачут и требуют, чтобы я им поклялась, что я не утешаю их, а твердо верю, что они будут еще жить. Им так хочется жить!

Они требуют, чтобы я заверила их, что можно в страшной предстоящей им жизни сохранить чистоту, встретить настоящую любовь, и я клянусь им, что они будут жить, и ласкаю их, как свою дочь, и прижимаюсь к ним, и говорю им, что самое главное — это пройти эту бездну, сохранив себя, не потеряв к себе уважения.

Мне рассказывают про одного мальчика, Васю Петрова, сына расстрелянного большевика, который был завербован МГБ. Он вращался в среде детей, у которых, так же как и у него, были репрессированы родители. Он доносил о каждом слове недовольства, о каждом недоуменном вопросе, который возникал в кругу молодежи. По его доносам было арестовано много его товарищей.

Мать Васи я знала по Колыме. Это была чудесная, честная женщина. Она много рассказывала о своем мальчике, о его исключительной доброте, блестящих способностях, честности. Я заочно любила его. И вот он сыграл страшную роль, написанную для него людьми, которым он верил.

Он, наверное, делал это, стараясь доказать, что он выше личной уязвленности, что он, как Павлик Морозов, готов уничтожить своих отца и мать во имя коммунизма. Бедняга! Он верил, что делает это во имя коммунизма. Его обманули. И вот он мечется сейчас на тюремных нарах и предпочел бы быть обезглавленным, чем подтверждать на очных ставках, что Шура сказал, что его отца расстреляли несправедливо, а Петя сказал, что в колхозах плохо жить, а Маня сказала, что в университет не принимают евреев.

Я жадно расспрашиваю своих девочек: какой он, этот мальчик? Как это ни странно, они к нему очень снисходительны, общее мнение, что он хороший, но "розовый идиот".

Этот термин в устах моих юных собеседниц, считающих себя очень умными, обозначает наивных ребят, верящих всему, что пишут в газетах, и прямолинейно поступающих согласно своей вере.

Он "розовый идиот"... Но мой сын тоже "розовый идиот". Я боялась раскрыть ему глаза. Я боялась его юной честности и горячности и, может быть, уготовила ему такую же судьбу. Мне страшно. Я молю Бога, в которого не верю, чтобы сын был такой же, как сидящая рядом со мной глупая маленькая Валя, которую все ругают за то, что она "режет правду" в глаза следователю и говорит, что с подлецами беседовать не собирается.

Она чувствует себя героиней, хотя ужасно боится темного карцера с крысами, где побывала за свои геройские поступки уже три раза, хотя плачет горькими слезами при мысли, что все девчата пойдут в ссылку, а ей за плохое поведение следователь обещал лагерь.

Я тоже ругаю ее, и требую, чтобы она вела себя дипломатично и вежливо. Но я люблю ее и хочу, чтобы мой сын был такой, как она, а не такой, как бедный Вася Петров, потому что Вася — человек погибший.

Трудно поверить, но эти четыре месяца в Бутырской тюрьме в 1949 году остались в моей памяти как светлое время. Я жила на таком подъеме, так напряжены были все силы души. Я так чувствовала себя нужной. Девочки липли ко мне, как цыплята к клушке. Женщинам, которым предстоял лагерь, я старалась внушить, что и в лагерях не все такие, как Мария Ивановна со своими истериками и матом, а есть и нормальные люди. Я старалась вести себя так, чтобы они видели, что можно пройти самый страшный Колымский лагерь и остаться человеком. В эту тьму я принесла им немножко света, и это самое лучшее, что я сделала за всю свою жизнь.

Я так счастлива, что это было в моей жизни! Потом я не была такой.

Этап в Караганду

В середине декабря 1949 года меня отправили по этапу в ссылку в Казахстан. До Куйбышева везли в "столыпинском" вагоне, а в Куйбышеве я попала на пересылку в очень тяжелые условия: камера, рассчитанная на 200 человек, была наспех переделана из конюшни. В ней стоял неистребимый запах лошадей и навоза, что в сочетании с вонью параша и огромного количества скученных, немывтых и больных тел создавало страшную атмосферу. Когда нас ввели в эту камеру и мы заняли места на двухэтажных нарах, нас было 200 человек. Но потом все приводили и приводили, женщины лежали в проходах, под нарами, на столе и под столом. Мы задыхались в этой вони. Не давали ни книг, ни каких-либо лекарств. В огромной камере то и дело вспыхивали ссоры, истерики.

— Когда же нас отправят отсюда? — спрашивали мы корпусного, но он только разводил руками и очень наивно отвечал:

— Что я могу поделать, все тюрьмы и лагеря забиты, никто вас не принимает. Кто же виноват, что вас такая орда?

Вот именно, кто виноват?

Понятно, что когда после месяца ожидания нас наконец вызвали на этап, мы были рады. "Хоть гирише, та иньже!" — говорили наши украинки, и мы все были с ними согласны.

Но когда в ранних сумерках январского дня нас повезли куда-то далеко по путям, к стоящему в тупике составу, и втолкнули в теплушку, стало страшно по-настоящему. Мороз стоял не менее 30 градусов. Было часов пять вечера, уже темнело, когда я вслед за другими женщинами вскарабкалась в теплушку по приставной лестнице, мне показалось, что не видно ни зги. Теплушка была ледяная. Освоившись, мы заметили многочисленные щели, сквозь которые серел зимний вечер. В теплушке стояла печурка, но не было ни дров, ни спичек. Двойные нары покрыты слоем льда. Я была одета тепло, да еще родные передали мне ватное одеяло. Все, у кого были теплые вещи, стали развязывать свои узлы и кутаться кто во что. Рядом с собой я заметила молодую девушку, на которую обратила внимание еще в грузовике, когда нас перевозили из тюрьмы к поезду.

У нее было милое, смелое лицо. Лет на вид ей было 23–24. Одета она была в летнее ситцевое платье и казенную телогрейку. На ногах штопаные-перештопаные чулки и тюремные бутсы. Я ее позвала к себе под ватное одеяло, и мы познакомились. Ее звали Оля Косенко. Она прижалась ко мне, никак не могла согреться.

— Оля, почему вы так одеты, почему без вещей?

— Собака-следователь за мою дерзость не разрешил мне передач, вот я и осталась в чем была летом, когда меня арестовали. Дали на дорогу телогрейку да бутсы, вот и все.

Просидели мы в этой ледяной и темной теплушке несколько часов. Наконец послышалось какое-то движение, заходили по крышам, в соседних теплушках залязгали засовы. Отворилась и у нас дверь, вошли охранники и монтер, провели электрическую лампочку. Потом бросили нам охапку дров и спички, ушли и задвинули засов. Дров было мало, когда дадут еще, мы не знали, но все-таки разожгли печурку и немного согрелись. Оказалось, что в темноте уже были заняты лучшие места над печкой. Там поселилась группа латышек, которые не говорили с нами, дав нам понять, что по-русски не понимают. (Потом оказалось, что по-русски они говорят, но они так были злы на русских, что даже с нами не хотели говорить.) Были в теплушке мать с дочерью, западные украинки. Они попали в тюрьму за сына и брата, бандеровца, который ушел в леса, а к матери ходил за хлебом. Мать все говорила:

— Ну как же я ему не дам, ну, к вам бы сын голодный пришел, неужто не дали бы поесть?

Она была очень больна да, видно, еще простудилась в этой ледяной теплушке и сильно кашляла. С нами была еще одна заключенная, старая опытная медсестра. Она считала, что у старухи воспаление легких, и все просила конвой вызвать врача, но так и не допросилась. У этой медсестры, Веры Самойловны Локкерман, было интересное прошлое. Ее братья до революции были видными меньшевиками. Один как будто даже членом ЦК меньшевиков. В

молодости Вера Самойловна тоже участвовала в работе братьев и в 1905 году была арестована с оружием в руках на краснопресненской баррикаде.

По молодости (ей в 1905 году было 15 лет) она отдалась только ссылкой в Сибирь. Сейчас это была тучная, большая шестидесятилетняя женщина, которая политикой совсем не занималась. Но, на свою беду, она имела прекрасную комнату в трехкомнатной квартире. Две другие комнаты занимал работник МГБ, которому очень нравилось жить в отдельной квартире. Ничего не было легче, чем посадить соседку и занять ее комнату, что и было сделано.

В обвинительном заключении Веры Самойловны было написано: "Занималась антисоветской деятельностью с 1905 года".

Ехали до Караганды мы 16 дней. Сначала отчаянно мерзли, а потом на каком-то полустанке наш эшелон стоял рядом с составом с углем. Вдруг наш конвоир, украинец, который иногда перекидывался по-украински парой слов с Ольгой Косенко, старостой нашего вагона, открыл дверь, дал Оле ведро и скомандовал:

— Набирай угля, сколько успеешь.

Оля соскочила и успела набрать десятка два ведер угля. Потом дверь закрылась, но мы ожили. Мы заметили, что из некоторых других вагонов тоже набирали уголь.

Я вспомнила: Лев Толстой писал, что русские законы можно переносить только потому, что их все нарушают, если бы их не нарушали, жить было бы просто невыносимо.

Если бы мы не украли с благословения конвоира уголь, вряд ли доехали бы до места назначения живые с нормой топлива по охапке дров в день.

Я устроила постель вместе с Олей, и мы, прижавшись друг к другу, по целым дням разговаривали.

Срок у Оли был страшный: 20 лет. Его, по словам Оли, "всунул" ей следователь, которого бесило ее бесстрашие, нежелание подчиняться, ее споры и резкие, иногда грубые слова.

Очень ей не повезло на следствии. Она была арестована в 1947 году с группой студентов-филологов Киевского университета.

Следователю не давали спать лавры эмгэбистов 1937 года, и он придумал версию о грандиозном террористическом заговоре с целью отторжения Украины от СССР. Оля показалась ему подходящей фигурой для дачи нужных показаний. Он фабриковал и заставлял ее подписывать чудовищные протоколы, обвинять десятки ее товарищей.

Придумана была даже связь с гестапо, якобы завербовавшим во время войны целую группу украинской молодежи. (Между прочим, во время войны пятнадцатилетняя Оля вела себя героически: чтобы не попасть в Германию, она заразила себя трахомой, зная, что немцы таких больных не увозят.)

Рассчитывая, что угрозами, побоями, карцерами, семисуточными допросами на "конвейере", посулами отпустить на волю и лишениями передач ему удастся сломить эту тоненькую двадцатитрехлетнюю девушку, следователь ошибся. Он не добился от нее ничего и, взбешенный, обещал:

— Я тебе всуну двадцать лет строгого режима. Это он и выполнил, прибавив еще одно — однажды, уже после приговора, он вызвал ее и спросил:

— Ну как, поплакала за свое упрямство? — и в ответ на Олины слова "Не плакала и не собираюсь" он расхохотался и добавил: — Ну давай спорить, что заплачешь! Твой женишок арестован, и я попросил дать его для следствия мне.

Тут он победил. Оле сделалось дурно. Жених ее, односельчанин, даже не знакомый ни с кем из обвиняемых, приехал в Киев для того, чтобы ходить в тюрьму с передачами, справляться об Оле — одним словом, на свою беду, заявил о своем существовании.

Во время этого тяжелейшего следствия, длившегося 8 месяцев, единственной удачей, облегчавшей Олино существование, была соседка по камере, пожилая женщина по имени Мария Герцевна, обогревшая Олю, поддерживавшая ее, относившаяся к ней по-матерински. Эту Марию Герцевну Оля часто вспоминала и говорила мне:

— Все-таки мне везет, то около нее я согрелась душой, а теперь вас встретила.

Бедная девочка, у нее еще поворачивался язык на слово "везет"!

А сейчас я должна рассказать об одной стороне нашей дружбы, доставившей мне немало горьких минут. Эта умная, смелая, великодушная девушка была заражена отвратительной болезнью: она была антисемитка. Оля рассказывала мне бесконечные истории о том, как евреи умеют устраиваться. В их селе заведующий магазином, еврей, всех своих родных устроил на теплые местечки, у ее подруги по Киевской тюрьме следователь был еврей и какой он подлец, и т. д.

Когда я спорила с ней, говорила о том, что вот ее следователь был украинец, а худшего палача поискать, она отвечала:

— Ах, Ольга Львовна, вы их не знаете. В Москве их мало, а в Киеве сил от них нет!

Я очень легко могла прекратить эти мучительные для меня разговоры, сказав, что я сама еврейка. Но ведь эта дурочка уже не смогла бы быть со мной. Она замерзла бы и голодала без присланных моими еврейскими родственниками продуктов и одеял. Так я и терпела до самой Караганды.

На шестнадцатый день этапа вошел охранник, назвал несколько фамилий и сказал:

— Собрать вещи, через два часа подъезжаем.

Нас, счастливых, ехавших в ссылку, было всего человек пять. Остальные, с огромными сроками, от 10 до 20 лет, ехали в Новорудню, на прииски, в лагеря с тяжелейшим режимом. Мы начали собирать вещи. Оля смотрела на меня глазами, полными слез.

— Опять я одна!

Мы сели в уголок на нары.

— Олечка, — сказала я, — мне надо с вами поговорить. Вы очень мучили меня эти шестнадцать дней, ведь я еврейка. — Оля ахнула, закрыла руками лицо, и сквозь пальцы я увидела, как пылают ее щеки, уши, шея.

Поезд наш подошел к станции. Я встала. Оля бросилась ко мне на шею, вся в слезах.

— Вы дали мне такой урок! Простите меня! Клянусь, я всегда буду его помнить.

Я никогда не встречала больше Олю. Говорили, что она умерла в Новорудне. Если это неправда и строки эти попадутся тебе на глаза, отзовись, Оля! Я часто вспоминаю тебя с болью и печалью. Ведь перед тобой лежали годы тяжелых мук. Дай Бог, если к 1954 или 1956 году ты была еще жива.

Отзовись, Оля!

В ссылке

Со ссылкой мне повезло: я попала в Караганду, где можно было найти работу и где было много интеллигенции из ссыльных. Попала в Караганду и Валя Герлин, которую я полюбила в Бутырской тюрьме. В Караганде Валя вскоре вышла замуж за Юру Айхенвальда, тоже ссыльного, так что у меня сразу появились друзья.

Встал вопрос об устройстве на работу. Искать работу по специальности (экономистом) я ни за что не хотела — при одной мысли, что нужно заполнять анкеты, хлопотать, чтобы меня приняли с моей судимостью...

Я решила пойти на работу в пошивочное ателье, где на конвейере шили телогрейки. Для этой работы моей квалификации хватало, ведь все же я дочь портных. Туда свободно принимали ссыльных, и там я проработала три месяца до нижеописанных событий.

Работали две бригады по 44 человека. Было два бригадира, два механика-наладчика машин, два сторожа, две уборщицы. Но почему-то один склад, и два бригадира вечно спорили, не было никакого порядка. Каждый месяц после снятия остатков один из бригадиров платил за недостачу и уверял, что второй переложил несколько штук его телогреек к себе.

Работали мы в две смены. Ночная начиналась в пять часов вечера и кончалась в час ночи. В это время ходить в Караганде было опасно — раздевали и даже хуже.

Поэтому мы оставались ночевать на столах в цеху. Всю ночь девчата шептались, целовались с парнями.

Совершенно удивительно шла работа. Каждая бригада обязана была сделать в день 125 телогреек. Это очень мало для 44 человек, но мы план почти никогда не выполняли, так как конвейер шел чрезвычайно неравномерно, почти каждый час были простои то на одной, то на другой операции. Я сидела на вшивке рукавов, но то не хватало рукавов, то самих телогреек. Часто оказывалось, что нет ниток или пуговиц. Зарплата была мизерная — 200–300 рублей старыми деньгами, причем одинаковая и на сложных операциях (вшивка рукавов, карманов), и на пришивке пуговиц, чистке телогреек веником и т. п. Но девушки не унывали. Во время простоев они спали на куче деталей (после бессонной ночи) или вышивали и вязали.

Я занималась тем, что подсчитывала простои и раздумывала, как бы их избежать. Я разговаривала с лучшими работницами, спрашивала их, сколько они могли бы сделать, если бы не было простоев, если бы их машины не портились так часто, а механика в это время нигде нельзя найти. Мне все больше и больше хотелось наладить работу.

А тут случилось, что после очередного начета за недостачу наши два бригадира (молодые девушки, окончившие швейный техникум в Алма-Ате и по распределению присланные в Караганду) сговорились и, не рассчитавшись, сели в поезд и удрали в неизвестном направлении. Мы пришли утром на работу и застали склад запертым. Директор нашего ателье Анисья Васильевна Корнева начала уговаривать то одну, то другую работницу принять на себя бригадирство, но никто не соглашался, боялись связываться с этим делом и платить начеты.

Мы не работали три дня. И я решилась. Я пошла к Анисье Васильевне, которая меня совсем не знала, и сказала, что у меня есть предложение: я могу взяться за бригадирство, но у меня условие. Вместо двух бригад должна быть одна. Я сама выберу, кто в бригаде останется, а кого сократить. Сама пересмотрю нормы и тарифные ставки. На узкие места мне надо дополнительно поставить пять человек. План 250 телогреек в день, я уверена, можно выполнить одной бригадой.

Анисья Васильевна была поражена моим нахальством — я сама себя предложила в бригадиры и к тому же ставила условия. Ко всему, я была ссыльная, что не очень подходило для такой "важной" должности. Надо сказать, что Анисья Васильевна была малограмотным человеком, но с природным умом, пытливостью и доверием к людям, даже ссыльным. Она, конечно, рисковала, согласившись на мои "реформы", ни с кем не согласовав их из начальства. Но положение у нее было безвыходное — цех стоял. Она согласилась.

Нельзя сказать, что я не волновалась — вдруг у меня ничего не выйдет, вдруг девушки не захотят так усиленно работать, а я сокращу 40 человек и поломаю весь порядок работы, который хоть и со скрипом, но существовал уже десятилетия. При моем положении все, конечно, свалят на меня, пришьют еще вредительство на производстве... Но уж очень хотелось поработать как человек.

Я начала с того, что собрала работниц (тех, кто остался, остальных уволили по сокращению штатов). Я объяснила им, что работать теперь они будут без простоев, зарабатывать гораздо больше. Что ввожу разные тарифные ставки на работах разной сложности. Окончила я так:

— Девушки, вам, как и мне, надоело работать в таком беспорядке и к тому же вторую смену спать на столах. Я могу вас избавить от этого, но не сумею уследить за воровством. Я, конечно, уволила главных воровок, но, быть может, не всех. Я вам поручаю следить за воровством, а если у меня будет недостача, после первого же начета уйду с работы, платить мне нечем.

Девушки приняли мое предложение. Как это ни удивительно, в первый же месяц мы выполнили двойной план, и у меня не только ничего не пропало, но была еще экономия на нитках, нашем вечно больном вопросе.

Кстати, произошел случай, совсем успокоивший меня относительно воровства. Как-то

сидела я в кабинете заместителя директора Сатенова, мы с ним мирно беседовали. Вдруг в кабинет ворвались две мои девушки, которые тащили третью (между прочим, тетку Сатенова) и кричали:

— Она в сумку спрятала нитки!

Та судорожно сжимала сумку и не отдавала ее. Вдруг одна из девушек резко дернула сумку, и из нее покатались четыре бобины (каждая по 25 катушек). Я сказала:

— Вы уволены.

Сатенов хотел вмешаться, как-то замять это дело. Но я твердо сказала: или она, или я. Ему пришлось согласиться.

Работала я с увлечением. После лагерной физической работы эта была организационная, творческая. Через два месяца мы делали 300 телогреек в день. Тут произошел комический случай. Узнав о моих результатах, Анисья Васильевна сказала мне:

— Ольга Львовна, я имею на каждой телогрейке убыток 10 копеек. Теперь вы стали столько их делать, что я совсем разорюсь.

И только когда я подсчитала ей, на сколько уменьшились накладные расходы, когда вместо двух бригадиров остался один, вместо двух механиков, двух уборщиц, двух сторожей — по одному, когда расходы на помещение, освещение, бухгалтерию и пр. делились не на 125, а на 300 телогреек, она поняла и обрадовалась.

Таков был уровень руководительницы нашего производства.

Как только у меня определилось место ссылки, Николай бросил работу, друзей, как-то налаженную жизнь и приехал ко мне в Караганду. Это стало, конечно, главным событием в моей ссылке. Мы сняли комнату с кухней, Николай поступил на работу. Вновь у меня была семья, можно было жить спокойно, без страха проверки паспортов, отдохнуть от нелегального существования.

Летом на каникулы к нам приезжали мои дети. Дочь подружилась с Николаем, восхищалась его мужеством, бесстрашием, по-моему, тянулась к нему, как тянутся к отцу. У нас в Караганде образовалась своя компания — Валя и Юра Айхенвальды, Алик Вольпин (Есенин), несколько друзей по работе, тоже ссылки. Мы часто ходили в гости, приходили и к нам. Короче, если не считать унижительных процедур отметок в КГБ, была нормальная человеческая жизнь.

Но увы! Очень скоро я поняла, что стою на краю пропасти. За те три года, что мы провели в разлуке, у Николая созрела решимость бороться. Выходец из крестьян, он хорошо понимал, чего стоило народу "раскулачивание". Кадровый военный, он не мог простить Сталину разгрома командования армии перед самой войной. А сколько еще! Попытки на допросах, преследование попавших в плен солдат, добровольно вернувшихся на родину, и т. п. и т. п.

Об этом он говорил не только с близкими друзьями, но и с молодыми ребятами на своей работе, которые тянулись к нему. Это продолжалось целый год. Николай чувствовал себя окрыленным и на все мои мольбы быть осторожным отвечал, что хочет погибнуть в борьбе, а не подлым рабом.

29 апреля 1951 года его арестовали.

На следствии он пытался сагитировать следователя, который его прямо-таки боялся, как бы с ним тоже не попасть во "враги народа".

И снова у меня началось страшное время. Очереди с передачами в тюрьму. Страх самой снова попасть в тюрьму, теперь за второго мужа. Выдержать это второй раз не было сил.

Два месяца следствия я не входила в свой дом — это было выше моих сил. Жила у Вали Герлин и Юры Айхенвальда. Узнав приговор суда, я пришла к ним совершенно больная и легла на кровать. В полубреду я увидела, что Валя вошла в комнату с каким-то мужчиной. Я не слушала, о чем они говорили, долетали отдельные фразы: "Обокрали..." — и детский смех с подвизгиванием и фырканием. "Ну, как-нибудь образуется, это все ерунда. Лучше я почитаю вам стихи". И он начал читать.

Читал он: "Якобинца", "Оду", "Невесту декабриста", "Знамена" и еще многое.

Никогда ни одни стихи на меня не производили такого впечатления. Я была так убита, так унижена и своим положением, двухмесячным хождением с передачами в тюрьму, и наглыми соборезнованиями на работе: "Опять ваш в тюрьму угодил". А самое главное, всей стране, всему миру внушалось со страниц газет, речами на процессах, что революция, святая революция хранится "ими", а те, что покушались на нее (я и мне подобные), растоптаны, повержены и место нам в навозе. И вдруг я слышу от своего товарища, такого же изгоя, отверженного, как я, полные достоинства слова:

Их той тяжелой силой придавило,
С которой он вступал как равный в бой.

Мне казалось — это о Николае. И о Сталине.

Он революцию обокрал
И в нее нарядил себя

И ода, где он воспевает свою революцию с такой силой и страстью какие и во сне не снились всем официальным писакам. И трагические "Знамена":

А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его подымать?
А враг следит, очкастый и сытенький,
Заткнувши за ухо карандаш...
Смотрите!
Вот
он виден ясно мне!
Огонь!
В упор!
Но тише, друзья...
Он спрятался за знаменами красными,
И трогать нам эти знамена нельзя!
И все же мечусь я,
дыхание сперло.
К чему изрыгать бесполезные стоны,
Противный, как слизь, подбирается к горлу,
А трогать его нельзя:
знамена!

Я встала, подошла к столу и увидела Манделя. В это время ему было 25 лет. Одет он был удивительно: желтые клетчатые штаны с великана, внизу подшитые, но со спускающейся до колен ширинкой. Пиджак у него был синий, когда-то хороший, но такой старый и грязный, что, когда я впоследствии его выстирала, он весь расползся у меня в руках — его держала только грязь. Его толстое некрасивое лицо со странными глазами (зрачки у него были неправильной формы, как будто рваные), детский смех, невероятный аппетит, с которым он ел немудреную пищу, предложенную ему Валею, манера забывать о еде и начинать снова и снова читать стихи, а потом снова набрасываться на картошку с капустой, а потом снова забывать о еде и говорить, говорить — все это мне ужасно понравилось. Я первый раз за последние страшные два месяца отвлеклась от своего горя и наблюдала за ним. Он с Валею и Юрой был уже на "ты". Я спросила, были ли они знакомы в Москве. Оказалось, что Валя, студентка литературного факультета пединститута, знала его в Москве по выступлениям поэтов, а он ее не знал. Валя шла по улице и увидела растерянного Манделя, у которого только что украли чемодан со всеми его вещами и деньгами. Она подошла к нему,

спросила:

— Вы Мандель?

Он ужасно обрадовался:

— А ты знаешь меня, девочка? — После чего объяснил ей свои обстоятельства и отправился к ней в гости. Он тотчас объяснил мне, что совершенно не виноват, что его обокрали. И опять он читал стихи. Я сразу поняла, что передо мной истинный талант. Но как он неосторожен. Он знаком со мной, Валею и Юрой всего несколько часов и читает такие стихи! Каждое из них может стоить десяти лет лагерей! И мучительный страх за него, странно сказать, материнская любовь к нему с первого взгляда, желание защитить, как-то помочь ему охватили меня.

Неожиданно оказалось, что уже 12 часов.

— Где ты будешь ночевать? — спросила Валя.

— У вас где-нибудь, — простодушно ответил Эмка. Но это было совершенно невозможно. У Вали с Юрой была комната метров в 9, где стояли их кровать и раскладушка, на которой я спала, а самая главная трудность была в хозяйке, которая все время ругалась, что она сдала комнату двоим, а живет еще третья (я). Тогда я сказала:

— У меня есть комната с кухней. Если хотите, я дам вам ключ. Но имейте в виду, что я в комнате не была два месяца после ареста моего мужа. Можете поселиться в кухне. Я тоже скоро туда приду.

— Мандель всегда попадает вовремя, — сказал Мандель, секунду поколебался и добавил: — Давайте ключ.

Так мы вместе прожили больше года, как мать с сыном.

Очень скоро Эмка рассказал о себе. Он приехал в Москву весной 1951 года после трехлетней ссылки в деревню Чумаки близ Новосибирска. Приехал оборванный, запущенный, грязный, изголодавшийся по культуре, по Москве. В поисках путей устроиться как-то в Москве он забрел в квартиру писателя П., бывшего тогда редактором или членом редакционной коллегии какого-то журнала. П. оказался в Кисловодске. Манделю открыла дверь дочь писателя, Вера, изящная, выхоленная женщина лет тридцати, после развода живущая с отцом и дочерью. Вера предложила Манделю войти, накормила его, угостила вином. Они разговорились (а на разговоры Мандель был большой мастер), короче, вспыхнул и разгорелся мгновенный и бурный роман.

Роман длился около двух недель, по истечении которых Вера сказала, что возвращается отец и Манделю пора смыться. Выйдя из безопасной и изобильной квартиры П., Мандель снова почувствовал, что земля под ним горит: прописаться нельзя, устроиться на работу невозможно, жить и просто ночевать негде. И вдруг ему пришла в голову разумная мысль, что надо бы поехать в город, где он будет жить законно и даже с некоторым преимуществом перед основным населением — ссыльными, короче, он появился в Караганде.

Чтобы понять, как велика наивность Манделя, надо было слышать его рассказы о "моей девочке Вере". Он собирался выписать ее в Караганду, как только устроится на работу и снимет комнату.

— Но ведь у нее дочь, — говорила я.

— Я ее усыновлю.

— Неужели ты думаешь, что из ее московской квартиры, обеспеченной жизни, комфорта, положения она приедет к тебе, чтобы стать женой бесправного Манделя и жить на гроши, которые ты будешь зарабатывать?

— Она меня любит.

Он ей писал в стихах и прозе и очень ее ждал. Ответа на письма не было. Но вдруг мой Мандель помрачнел и перестал о ней говорить. Дня через два он признался, что получил письмо, и дал мне его прочесть. Вера писала, что она поражена его предложением, благодарна ему за минуты страсти и упоения, бросившие их в объятия друг другу, но это был эпизод в их жизни, о котором хорошо вспоминать, но который не должен повториться. А к Манделю у нее просьба: ей предлагают работу в "Огоньке", но она никак не может

придумать тему для очерка или рассказа. Так пускай Мандель придумает и ей пришлет.

Этот эпизод отразился в стихотворении, где есть такие строчки:

Забыла ты, что есть Россия,
в которой где-то я живу...

Тему рассказа он ей не послал.

В этот период Мандель писал по целым дням. Продуктивность его была поразительна. Но увы! Даже места корреспондента в газете получить он не мог, уж не говоря о том, что никто не хотел печатать его стихов на самые невинные темы.

Появление в моей жизни Манделя в определенном смысле спасло меня, он вернул меня к жизни. Появилась необходимость о ком-то заботиться. Я наслаждалась им как поэтом, но трепетала перед небрежностью, с которой он выбирал слушателей, откровенностью с почти незнакомыми людьми. На мои упреки он отвечал: "Не бойтесь, у меня глаз! Я не всем читаю свои стихи, я сразу вижу, кто порядочный, а кто подлец". У него и вправду, наверно, был "глаз", потому что доносов на него не было, но волнений у меня было достаточно.

О Николае я думала непрерывно — и днем, и особенно ночью. Ведь я слишком хорошо знала, что такое лагерь. Я порой осуждала Николая, ведь сколько я умоляла его не заниматься политикой! И я, и он хорошо знали, чем это кончится. Но он не хотел отказаться от борьбы и погубил и себя, и меня.

Я посылала ему деньги, он писал мне свои короткие и сухие письма, тем более сухие, что мы оба знали, что они проходят лагерную цензуру. Но однажды, через год после ареста Николая, ко мне пришла девушка, освободившаяся из лагеря ("бытовичка"). Она принесла мне письмо от Николая, написанное на большом носовом платке, который она вынесла на груди, утаив от обыска.

Это письмо я берегу до сих пор, оно не раз омыто слезами. В нем впервые раскрылась его нежная душа.

"Привет, милая Оля... Мне, моя родная, так много хочется сказать тебе нежного, ласкового, любимого. Но я ведь не могу, я не поэт, не идут слова любви из жарких губ. Нет, я не груб. Но я твердо верю, моя хорошая, что ты поймешь все, ибо ты знаешь, что дело не в словах, и что мои качества как раз в другом, в цельности, гордости... И это дороже, чем мещанское сюсюканье о счастье и любви.

Уходя куда-то, быть может, и надолго от тебя, я не чувствую себя несчастным и не беру назад ни одного своего поступка, мысли, разговора. Я умею любить, любить достойных себя, сильных, мужественных, гордых, которые не способны просить пощады, не способны унижаться до просьб.

...Милая Оля... я здоров и твердо верю в наше счастье, в нашу красивую человеческую будущность. Хочу, моя дорогая, чтобы и ты не поддавалась унынию, пессимизму, панике. Жди меня... Пути наши определены, и мы не можем и не будем их менять, как бы нам тяжело ни было, ибо смерть и слезы моего народа выше наших с тобой горестей. Как бы плохо ни было, помни, что другим не легче и нам не тяжелей, чем другим.

О том, как проходит наше время, о мелочах быта тебе расскажет эта девушка. А пока всего доброго, моя любимая, хорошая. Крепко, крепко целую. Твой Коля.

16.06.52".

Письмо это я берегу и не сдаю в музей. После моей смерти оно туда придет.

Я вспоминала все, что он сделал для меня. То, как два раза, любя меня, помогал мне уехать к детям. Как, рискуя здоровьем и жизнью, вырвался с Колымы и приехал ко мне в Москву. Как бросил как-то налаженную жизнь под Москвой и приехал ко мне в ссылку в Караганду.

Все, что я могла для него сделать, — посылать ему сколько разрешалось денег, писать короткие подцензурные письма и ждать.

Я жила, как могла, дружила с Манделем и Айхенвальдами и молила бога, чтобы умер

Сталин и что-то в стране переменялось.

1 августа 1951 года мне исполнилось 49 лет. В гости ко мне пришли Эмка Мандель, Алик Вольпин (Есенин), Валя Герлин и Юра Айхенвальд. В подарок они мне принесли бутылочку портвейна. Я совсем забыла, что Алику нельзя пить. Разлили половину бутылочки и выпили за именинницу. Второй тост захотел произнести Алик.

Дело было летом, одно окно было разбито, а всегда, когда собирались четыре-пять человек ссыльных, вертухаи (сотрудники МГБ) шныряли под окнами.

Итак, тост поднял Алик.

— Я пью, — сказал он своим громким, скрипучим голосом, — я пью за то, чтобы подох Сталин!

Моих гостей как ветром сдуло. Я осталась вдвоем с Аликом.

— Замолчи! Ты же губишь и меня и себя! Замолчи!

— Я свободная личность, — важно ответил Алик, — и говорю, что хочу. Я пью за то, чтобы подох Сталин!

Я хотела зажать ему рот и как-то стукнула его по губам, в результате чего он очень податливо упал на пол и немного тише, но так же четко и отдельно повторил:

— Я пью за то, чтобы подох Сталин. Я свободная личность, вы не смеее зажимать мне рот.

Я опять стукнула его по губам, а он продолжал повторять свой тост, но все тише и тише.

В паническом ужасе я начала просто бить его по губам, по щекам, куда попало, а он продолжал бормотать одно и то же. Наконец встал и сказал мне:

— Я презираю вас, как МГБ, — и ушел. Тотчас вернулись Мандель, Валя и Юра. Оказывается, они бегали под окнами и сторожили, не появятся ли вертухаи, но таковые не появились. Потом вышел Алик. Они проследили, куда он пойдет, и, убедившись, что он пошел домой, прибежали ко мне.

Назавтра Валя пришла ко мне и сказала, что Алика не было на работе, а когда она его навестила, то увидела, что он лежит избитый, с такими синяками под глазом и на губах, что идти на работу не может.

— Вавка, — сказала я, — иди к нему, отнеси ему от меня вчерашний пирог, который он не съел, и попроси за меня прощения.

Валя исполнила поручение и вернулась с томиком Лермонтова, который посылал Алик мне в подарок с надписью:

"Дорогой Тигре Львовне, которая бьет не в бровь, а в глаз". Но, к сожалению, инцидент на этом исчерпан не был.

Дней через пять он поправился и пошел на работу. Его школа помещалась близко от швейного ателье, где я работала начальником цеха. Он частенько заходил за мной после конца работы, и мы вместе шли домой. Увидев, что он цел и невредим, я издали крикнула ему:

— А! Ты пришел! Ну, ты не сердись на меня? — на что последовал громогласный ответ через весь цех:

— Неужели вы думаете, что этот подлец Сталин мог нас рассорить?

Мою реакцию можно себе представить.

Долго-долго я не спала по ночам и ждала реакции МГБ на слова Алика. Никакой реакции не было.

Как-то я поделилась своим страхом с одной из работниц. Она мне сказала:

— Мы все слышали его слова, но сговорились молчать, как будто не слышали.

Какие хорошие были мои девочки!

Керта Ноуртен

Я познакомилась с Кертой Ноуртен осенью 1953 года, когда, отсидев 10 лет в тюрьмах

и лагерях, она оказалась в Караганде. Ей в это время было уже около пятидесяти, но вид у нее был совсем молодой женщины, как мне показалось, лет тридцати пяти. Она сразу покорила меня необыкновенной обаятельностью. У нас оказалось много общего. У нее, как и у меня, был огромный интерес к жизни, к судьбам страны, к людям. Как и я, она умела не замыкаться в своем горе. Мы часами говорили о том, что жизнь после смерти Сталина должна измениться, обсуждали, какие могут быть перемены, каким будет наше место в той, новой жизни. Мы подружились. Она рассказала мне свою историю.

Родители были финны. Отец, большевик-подпольщик, бежал из Сибири из ссылки и эмигрировал в Америку. Там и родилась Керта. Между прочим, при встрече она мне сказала:

— Ну, имя мое вы не забудете — как в "Снежной королеве".

— Но ведь там Герда!

— А это то же имя, только по-русски почему-то по-разному произносят.

Мать ее была актриса. Родными языками Керты стали английский и финский. Отец заставил ее выучить русский — Россия была его духовной родиной.

В 1917 году семья, конечно, поехала в Россию. Отец Керты по рекомендации Ленина участвовал в создании Карело-Финской республики и стал, кажется, ее председателем. Семья жила в Петрозаводске. Керта училась в Ленинграде в театральном училище.

Воспитанная отцом — профессиональным политическим деятелем, Керта не мыслила себя вне партии, вне общественной деятельности. Она вступила в партию, стала активной, а бы даже сказала, ортодоксальной коммунисткой, для которой чувство партийного долга превыше всего.

Такой характер, а также превосходное владение тремя языками, исключительная привлекательность и легкость общения с людьми сделали ее весьма интересной для НКВД. Ей предложили поступить в школу разведчиков, которую она и окончила.

Керта вышла замуж, но вскоре разошлась и поселилась с сыном у родителей в Петрозаводске. Она стала актрисой, играла в театре.

Отец Керты умер и был торжественно похоронен в Петрозаводске.

Между тем близилась финская война. Соответствующие органы предложили Керте забросить ее в Финляндию. Очень непросто было ей принять решение. Бросить сына и мать. Бросить любимую работу. В это время Керта была уже известной актрисой, имела большой успех, ее знали даже за границей. Она страстно любила свое творчество, чувствовала, что перед нею большая сценическая жизнь.

Бросить все. Идти на огромный риск. Но чувство партийного долга пересилило. Партия посылает меня — я отказаться не могу. Керта согласилась.

Тут она впервые столкнулась с плохой организацией работы НКВД, о которой раньше была высокого мнения. Ее, конечно, одели во все заграничное — одним из главных условий ее работы была якобы полная непричастность к СССР. По легенде она была американка. В последний момент перед отправкой она вспомнила, что на руке у нее русские часы. Ее провожал какой-то энкаведист. Он тоже забыл о часах, это была его оплошность. Керта предложила ему немедленно поменяться часами — у него были золотые швейцарские. Ее удивило, что он сделал это с большим неудовольствием — она рисковала жизнью, а он жалел часы!

Однако это была не последняя небрежность в работе НКВД. Когда Керта спрыгнула с парашютом в Финляндии, она с ужасом обнаружила, что ей забыли положить лопату, пришлось зарыть парашют в снег голыми руками. Следующим чудом оказалось то, что ее сбросили за 30 километров от нужного ей места, должны были сбросить рядом с именем помещицы — агента СССР, которая имела задание помочь ей устроиться. Керте, обращая на себя внимание жителей деревни, пришлось пройти несколько километров до железной дороги. Когда же она наконец явилась к нашему агенту, та замахала на нее руками "Немедленно уходите! Началась война, такие строгости, такие страхи!" Пришлось уйти.

Керта поехала в Хельсинки, начала учиться на косметичку, чтобы иметь профессию. Она сумела сагитировать и завербовать пожилого финна, отца пятерых детей, члена

компартии. С его помощью установила связь, начала вести передачи. Но это длилось недолго.

Совершенно ясно, что после такого эффектного появления в Финляндии за нею начали следить. Она этого не замечала. Но в один печальный день внезапно открылась дверь и появились несколько человек. Сделали обыск, нашли рацию, а ее арестовали.

Керту посадили в тюрьму. Довольно любопытно описание этой тюрьмы. В центре города стоял трехэтажный дом. В первом этаже было кафе, второй этаж занимала какая-то семья, третий этаж — тюрьма, в которой находились 14 человек. Питание было неплохое, к тому же имеющим деньги разрешалось пользоваться кафе — каждый вечер им приносили кофе и печенье. Обращались с заключенными вежливо.

Началось следствие. Прежде всего хотели установить, из какой она страны. Она выдавала себя за американку и всю дурила им голову. Керта очаровала следователя, который был явно к ней неравнодушен. Кто-то ему сказал, что его подследственная очень напоминает русскую актрису Керту Ноуртен. Керте в это время было около сорока лет, а по легенде — 26, и выглядела она не старше. Когда ей был задан прямой вопрос, не Ноуртен ли она, она рассмеялась и игриво ответила:

— Я слышала о такой актрисе много лет назад. Сейчас ей, должно быть, не менее сорока. Неужели я похожа на такую старуху?

Следователь сразу отверг эту версию. В это время у Керты, несмотря на хорошие условия, видимо от перенапряжения, начались какие-то психические неполадки. Ее мучили слуховые и видовые галлюцинации, провалы памяти. Она на следствии рассказывала сочиненную ей легенду о себе и вдруг забывала дату своего рождения (по легенде), место рождения и т. п. Я об этом пишу потому, что подобного тому, что произошло далее, я потом никогда и ни от кого не слышала, но за точность передачи рассказа Керты я ручаюсь.

Однажды Керта проснулась от острой боли и поняла, что ей сделали какой-то укол. Затем она на время потеряла сознание, а очнувшись, услышала свою речь: говорила она по-русски, рассказывала о себе всю правду, рассказывала о завербованном ею финне, об агенте-помещице.

После таких признаний уже нельзя было сопротивляться следствию. Был суд. Керта и завербованный ею финн были приговорены к смертной казни, а женщина-агент — к 10 годам тюремного заключения.

Керта смирилась со своей судьбой, ей только хотелось, чтобы поскорее все кончилось. Мучила ее вина перед доверившимся ей финном и его пятью детьми.

В это время шел уже 1940 год, близился конец финской войны.

Приговор почему-то сразу не привели в исполнение. Керту перевели из Хельсинкской тюрьмы в монастырь, где она была одна. Книг и газет ей не давали. Единственным развлечением было посещение богослужения. Может быть, перед смертью ее хотели примирить с Богом.

Наконец однажды ей велели собираться, ее примет начальник тюрьмы. Она была в полной уверенности, что ее ожидает смертная казнь.

В комнате за столом сидел пожилой мужчина, очевидно, начальник тюрьмы. На столе стояли часы, стрелки показывали без четверти двенадцать.

— Сядьте, — сказал мужчина. Прошло 15 минут. Часы пробили 12. Он встал и велел встать ей. Он сказал:

— Война окончена. Вы и другие осужденные — помилованы. Единственное, что вы обязаны сделать, — сегодня же покинуть Финляндию. Навсегда. Выйдите в соседнюю комнату, там ваши вещи.

Керта вышла. Там в идеальном порядке висели ее вещи. Она оделась. Ей сказали, что ее хочет видеть двоюродный брат Ноуртен. Керта согласилась. Около монастыря ее ждал молодой мужчина, похожий на ее отца. Это был сын брата отца, профессор университета. Вместе они пошли на вокзал. Ноуртен зашел в кассу и взял билет в Швецию. Керта категорически отказалась. Она едет в Ленинград, в России у нее сын, мать, кроме того, она

должна рассказать о всех безобразиях ее отправки в Финляндию, оправдаться.

— Вы не знаете своей страны, — сказал ей Ноуртен. — Вас сейчас же посадят в тюрьму, и вы ничего не докажете!

Они проспорили весь день. Когда объявляли поезд на Ленинград, он не пускал ее, к поездам в Швецию не шла она. Наконец он понял, что ее не переспорить, и посадил в ленинградский поезд.

В Ленинграде на вокзале ее уже ждали и прямо повезли в тюрьму. Ее заставили принять полухолодный душ и с мокрыми волосами, замерзшую, втолкнули в совершенно пустую холодную комнату.

— За вами придут, — сказали ей, — ждите. Она сидела до утра, скорчившись, замерзшая, возмущенная таким приемом.

Утром открылась дверь и вошла женщина в форме.

Она несла миску горячих, дымящихся щей.

— Не замерзли? — весело спросила женщина. — Сейчас погреемся.

Керта подошла к ней.

— Спасибо, — сказала она, — сейчас погреюсь!

Взяла миску и неожиданно надвинула ее на голову надзирательнице.

Горячие щи залепили той нос, глаза. Она закричала, вбежала охрана, Керту избили и оттащили в подвальный этаж, где, оказывается, помещался сумасшедший дом. Вот там Керта узнала, что такое советская тюрьма!

Кормили впроголодь. Заключенных было столько, что не только лежать, не всегда можно было найти место, чтобы сесть. Сумасшедшие отнимали друг у друга хлеб. Никаких врачей не было. Драки, ругань. Наконец кто-то сказал Керте, что раз в полгода бывает медицинская комиссия. Здоровых переводят в тюрьму, больным назначают лечение. Комиссия должна быть месяца через два.

Керта твердо решила выбраться из этого подвала. Она притворилась здоровой, хотя была еще безусловно больна: ее мучили галлюцинации, провалы в памяти. К медицинской комиссии она привела в порядок свой наряд, хорошо причесалась и появилась перед комиссией прелестной спокойной молодой женщиной.

Комиссию ей удалось обмануть, ее выписали из сумасшедшего дома, заочно осудили и приговорили к 10 годам лагерей.

В лагере Керта сумела узнать о судьбе сына (мать умерла еще во время войны). Он отбывал срок за участие в банде. Керте удалось с ним связаться, и из переписки она поняла, что он не имеет никакого образования, не умеет грамотно писать. Она мечтала, освободившись, жить вместе с ним, дать ему образование, завоевать его любовь.

В 1956 году все мы были реабилитированы, кроме Керты. Она осталась в Караганде одна. Позднее, мечтая увидеть родные места и могилу отца, Керта поехала в Петрозаводск, где обнаружила, что могила отца снесена, все разрушено.

Возвращаясь из Петрозаводска, Керта останавливалась у меня в Москве. Хорошо помню ее рассказ и ее состояние.

Она добилась приема у Отто Куусинена, пытаясь восстановить могилу отца. В свое время Куусинен был в эмиграции в Америке, дружил с ее отцом и был своим человеком в их доме. Маленькая Керта часто сидела у него на коленях

Визит к Куусинену произвел на Керту страшное впечатление. Перед нею был высохший старик, обтянутый кожей скелет. Он почти не слышал, вопросы ее помощник повторял ему громко в ухо. Он не узнал Керту, не вспомнил ее отца, никак не мог понять, чего она хочет. Наконец, чтобы отделаться, он сказал, что все сделают. Конечно, сделано ничего не было. Керта была потрясена, что человек в таком состоянии продолжает входить в Политбюро и управлять нашей страной!

Вскоре, окончив срок, сын Керты приехал к матери в Караганду. Но увы! Он приехал с женой-блатнячкой, которая сразу же заявила: "Вы хотите его выучить, чтобы он меня бросил? Не будет этого!" Она схватила приготовленные для него учебники и бросила в

пылающую печь. Сын молчал. Ясно было, что глава семьи — блатнячка.

Поселились, конечно, отдельно. Сын иногда забегал, тайно от жены. Керта жила в коммунальной квартире. Отношения с соседями были хорошие, ее любили. Работала она сметчицей в каком-то проектно-институте. Будучи человеком талантливым, она легко освоила эту профессию и даже находила удовольствие в своей работе, она все делала хорошо.

Иногда у Керты бывало плохо с сердцем. Соседи ей помогали. Но однажды она поздно пришла домой, все уже спали. Слышали, как она ходит по комнате, кашляет иногда стонет. Войти не решились. А утром нашли ее мертвой, лежащей на полу. Сердечный припадок. Беспомощная, одинокая, она умерла. Даты смерти не помню. Вот все, что я знаю о Керте. Если я что забыла, то даты. За существование переданного в рассказах Керты ручаюсь.

Процесс врачей

Слухи об арестах врачей доходили до Караганды уже с 1952 года. Ползли мерзкие слухи о "Джойнте", международной организации сионистов.

Секретарь дирекции нашего ателье Наташа Вакула рассказывала, что своими глазами видела, как на почте вскрыли посылку из Америки, адресованную какому-то Рабиновичу. В посылке была вата, а в этой вате ползали тысячи сыпнотифозных вшей.

У нас на общем собрании выступила одна работница-портниха и сообщила, что помнит с детства, как евреи убили христианского младенца и взяли его кровь для мацы. Ее выступление встретили смущенным молчанием, а кто-то сказал:

— Ну, это еще не доказано, не надо об этом говорить. На этом обсуждение инцидента с мацой окончилось. В общем, настроение было предпогромное. В то время я работала начальником цеха массового пошива. Я же начисляла зарплату рабочим, для чего иногда сидела в конторе. В конторе я была одна еврейка и ссыльная. Когда я входила, прекращались оживленные разговоры и все взоры устремлялись на меня, как будто я была и врач-убийца, и "Джойнт", и потребитель кровавой мацы.

Однажды ночью я имела удовольствие прослушать по радио шедевр известной советской журналистки "Убийцы в белых халатах".

На работу я шла, как на казнь. Когда я вошла, смолкли оживленные разговоры и все глаза, по обычаю, устремились на меня.

Я села за свой стол и начала крутить арифмометр, щелкать на счетах.

С некоторым опозданием вошла наш бухгалтер Мария Никитична Пузикова. Это была самая знатная дама из всех работников конторы. Ее муж был членом обкома, в доме у нее собиралась вся карагандинская знать, о чем она нам докладывала каждое утро:

"Вчера у нас был секретарь обкома М.М. — важный чиновник из Москвы", — и т. п.

Сегодня Мария Никитична сияла, как новенький пятак.

— Боже мой, — говорила она, — какой ужас! Какая потеря бдительности! Как могли допустить этих евреев в Кремль, доверить им здоровье наших вождей! Мы с Сергеем не спали всю ночь после того, как послушали статью "Правды" "Убийцы в белых халатах".

Мария Никитична выпорхнула из конторы и через минуту вернулась с газетой в руках.

— Ольга Львовна, почитайте нам вслух эту статью, вы так хорошо читаете!

— По-моему, вы кончили семилетку, Мария Никитична, и должны сами уметь читать, а мне некогда, — ответила я. (Предметом страданий Марии Никитичны был мой университетский диплом, которому она могла противопоставить только аттестат семилетки.) Главбух взяла газету и начала читать вслух знаменитую статью.

Наш директор Анисья Васильевна была хороший человек. Полуграмотная деревенская девочка, потом прислуга, потом выдвиженка, член партии, она стала одной из знатных женщин Караганды. Она обладала природным пытливым умом и, несмотря на свое обожание Сталина, которому, по ее мнению, была обязана своей счастливой карьерой и жизнью, видимо, хотела понять, что же мы, ссыльные, за люди. Со мной она любила разговаривать,

но проверяла каждое мое слово. Так, однажды я сказала, что Маркс был еврей. Вскоре был какой-то юбилей и в "Правде", в большой статье о Марксе, было написано, что Маркс был немец. Анисья Васильевна упрекнула меня:

— Вот, Ольга Львовна, я доверяю вашим словам, так как вы человек образованный, а вы, оказывается, сказали мне неправду.

— А кому вы больше верите, Анисья Васильевна, "Правде" или Ленину?

— Ну конечно, Ленину я верю безусловно.

Я пошла в красный уголок и принесла том Ленина со статьей "Карл Маркс", где было сказано, что Маркс немецкий еврей. "Правда" была посрамлена, а Анисья Васильевна призадумалась.

Однажды она спросила меня:

— Ну объясните вы мне, чего не хватало этим евреям врачам? Плохо ли им жилось в СССР, зачем они убивали наших вождей?

На что я ничего не нашлась ответить, как:

— По-моему, они были сумасшедшие. Иначе я не могу объяснить.

Ведь не могла же я сказать, что все это дело сфабриковано, что никаких преступлений никто не совершил.

Я снова получила бы срок за агитацию против советской власти.

Так я жила в атмосфере враждебного любопытства, ненависти и травли.

Несмотря на наши горести, я и четыре такие же ссыльные женщины решили встретить 1953 год. Одна из этих женщин, Ида Марковна Резникова, работала у нас в ателье портнихой, три другие были медицинские сестры.

Мы приготовили вкусный ужин, испекли торт, раздобыли бутылочку вина. Пора было садиться за стол, но одна из женщин, Гита Абрамовна, почему-то не пришла.

Я решила сходить за ней. Она жила неподалеку. Когда я вошла в ее комнату, свет был выключен. Сначала я не поняла, дома ли она. Включила свет и увидела Гиту, сидящую молча на кровати, с которой была снята единственная драгоценность Гиты — пуховая перина. Рядом с кроватью лежала упакованная и надписанная посылка.

— Что случилось, Гита? Почему снята перина с кровати, что за посылка?

— Тише! — сказала Гита. — Уходите скорее, меня, наверное, сегодня или завтра арестуют. Меня уже вызывали на допрос и спрашивали о моем брате, который в 1939 году убежал из Польши в Палестину. Когда нас с мужем арестовали, он посылал моей дочке деньги. Говорят, что деньги эти от "Джойнта". Все, что у меня есть, я отправлю, если успею, дочери.

— Ну, тем больше оснований вам пойти и встретить с нами Новый год. Кто знает, увидимся ли мы еще, да и вкусные вещи в тюрьме не дают. Пойдемте!

— Нет, вы из-за меня еще тоже попадете, я уже меченая!

Еле-еле я увела ее к себе. Потом мы немного развеселились, выпили вина, хорошо поели и решили, что, может быть, и не случится ничего страшного.

— А теперь я пью молчаливый тост за самое свое большое желание и прошу всех ко мне присоединиться, — сказала я. Мы выпили молча. Потом оказалось, что у четверых было желание, чтобы в 1953 году умер Сталин, и только Гита, как старый и правоверный член партии, пожелала, чтобы в 1953 году была революция в Италии и Франции.

До 5 марта, когда сбылось наше желание, и даже после смерти Сталина в первые месяцы ничего не изменилось. Тот же страх ареста (Гиту не арестовали), те же глупые статьи в газетах. Но в воистину прекрасный день 4 апреля 1953 года в обеденный перерыв я вышла погреться на солнышке и вдруг из мастерской выбежала вся в слезах Ида Марковна, бросилась ко мне на шею и, захлебываясь, рассказала, что сейчас по радио передавали, что весь процесс над врачами-отравителями сфабрикован Рюминым и его сообщниками. Счастью нашему не было предела. Мы плакали, мечтали, что с нас тоже снимут позорные приговоры, что мы вернемся к своим детям.

Счастливая, вошла я в контору и услышала последнюю фразу из речи Пузиковой: "У

американцев денег много, они сумеют купить, кого им надо! "

Словно молния сверкнула в мозгу: "Сейчас я тебе покажу, сукина дочь!" Я подошла к двери кабинета директора и громко сказала:

— Анисья Васильевна, выйдите сюда! — Это было грубым нарушением субординации, совершенно у нас не принятым.

— Что вы говорите, Ольга Львовна?

— То, что вы слышите. Выйдите сюда вместе с Анной Петровной (наш парторг). Они вышли.

— Сию минуту Мария Никитична сказала, что Верховный суд подкуплен американцами. Я отсидела за недонесение на мужа 8 лет и не хочу сидеть еще за Пузикову. В ее словах полный состав статьи 58 п. 10 — дискредитация советского суда. Обычно карается это десятью годами лишения свободы. Тут все эти слова слышали и могут подтвердить. В МГБ я не пойду, а вот вам при свидетелях сообщаю. Уж вы и идите в МГБ.

Все окаменели.

— Мария Никитична, как вы могли сказать такую вещь?! — воскликнула Анисья Васильевна.

— Ах, я не знаю, не знаю, я не подумала! — Мария Никитична зарыдала и убежала домой.

Конечно, никаких судебных последствий неудачное выступление Марии Никитичны не имело, ее только избил муж, член обкома, так, что она четыре дня не ходила на работу и явилась с запудренными синяками. Еще я не могла себе отказать в удовольствии подойти к Анисье Васильевне и сказать:

— Анисья Васильевна, я спрашиваю вас как члена партии, зачем Рюмину и его сообщникам было клеветать на невинных людей и позорить нашу страну этим дурацким процессом? Плохо ли Рюмину жилось при советской власти, зачем было идти на такое преступление?

На это бедная Анисья Васильевна что-то пролепетала про американских шпионов. А еще я получила удовольствие, услышав песню блатарей, которые быстро отзывались на злободневные события:

Дорогой товарищ Вовси,
Я сердечно рад,
Что теперь выходит, вовсе
Ты не виноват!
Понапрасну вы томились
В камере сырой,
Низвергать вы не стремились
Наш советский строй.
Дорогой товарищ Коган,
Знаменитый врач,
Ты взволнован и растроган,
Но теперь не плачь!
Зря тебе трепали нервы,
Кандидат наук,
Из-за этой из-за стервы
Лидки Тимашук!
Вы работали, трудились,
Не смыкая глаз,
А лягавая зараза
Капала на вас.
Слух теперь прошел в народе —
Это все мура.

Пребывайте на свободе,
Наши доктора.

Работники нашей конторы еще долго ходили с опрокинутыми лицами, как будто они проиграли матч на первенство СССР.

Смерть Сталина

Шло совещание у директора в кабинете. Кроме меня, не было ни одного ссыльного. Во время заседания в кабинет без стука вбежала работница и начала:

— Анисья Васильевна...

— Почему вы вошли без разрешения? Удалитесь.

— Но, Анисья Васильевна...

— Я вам сказала: мы заняты. Удалитесь.

— Сталин умирает.

Как будто бомба разорвалась. Анисья Васильевна вскрикнула и начала клониться набок, ей стало плохо.

Все, кто был в комнате, обернулись и посмотрели на меня. Я страшно испугалась, что мое лицо выражает что-нибудь не то, что надо, и закрыла его руками. Я дрожала.

Я себе говорила: "Или сейчас, или никогда".

А вдруг все мои великолепные обоснованные расчеты лопнут, как мыльный пузырь?

А вдруг какой-нибудь Маленков, Берия, черт, дьявол поддержит этот колосс и подопрет его еще миллион трупов? Этак он простоит еще лет двадцать, на мой век и хватит.

Сейчас — или никогда! Я чувствовала, что у меня, дрожат плечи. Потом я услышала о себе разговор: "Какая лицемерка: сделала вид, что плачет, а потом открыла лицо — глаза сухие".

Все ходили как сумасшедшие. Вдруг все заболели бдительностью. За сто километров приехала женщина, кого уже месяц тому назад назначили примерку на 5 марта. — Сегодня мы не примеряем, — сказала я. (Я была дежурной по залу.) Женщина начала спорить, что день-то рабочий. Я ее выпроводила, меня потом вызвали в МГБ, записали все, что она говорила, имя, адрес. Больше она у нас не появлялась.

Один бравый генерал выпил в ресторане и высказался в таком духе, что хорошо бы это случилось лет на пятнадцать раньше, легче было бы воевать. Вскоре он уже катил в этапе со сроком в двадцать пять лет.

Мне все казалось, что вот теперь, когда может быть виден конец, меня схватят и прикончат.

Все недели траурные розетки.

Я мучительно думала: надеть или нет?

Меня подозвала Анна Петровна, наш парторг, и приколола розетку.

— Так надо, — сказала она.

Я потом все боялась снять ее и носила дольше всех, пока Анна Петровна не подошла ко мне и не сняла сама. Мы слушали гражданскую панихиду. Выступил Берия:

... — Мы умеем делать дело.

Да, он умеет.

Маленков:

— Пусть помнят враги, внешние и внутренние, что мы не ослабим бдительности.

Я помнила... Мне кажется, что никогда не было так тяжело, как в год смерти Сталина, когда медленно, медленно начинало где-то что-то проясняться и шевелиться.

Николай Адамов. Конец пути

Медленно, медленно прояснялось небо после смерти Сталина. Только через год, в 1954

году, начали снимать "вечную ссылку" и давать паспорта, конечно, с пометкой о судимости и запрещением жить в 39 городах. С меня почему-то ссылку сняли с самой последней, и я какое-то время жила в Караганде совершенно одна. Все мои друзья уехали, время тянулось невероятно медленно. Придя с работы, я в восемь часов ложилась спать (от отвращения к жизни, как говорил Мандель), а в три часа ночи просыпалась, читала, мучилась, ждала утра. Наконец с меня тоже сняли ссылку, и я сразу поехала в Джезказган, в лагерь к Николаю.

Об этом лагере ходили слухи, что там были волнения, что заключенные не выходили на работу, требовали пересмотра дел, приезда к ним Маленкова, изменения лагерного режима, что вводили танки.

Приехав в Джезказган, я узнала, что все уже позади, волнения ликвидированы, в режиме произошли большие изменения. В частности, разрешены свидания с родными на неделю, причем для этой цели отводится помещение с двумя выходами: один — для заключенного, в зону, другой — для приехавшего на свидание — на улицу. Ничего подобного раньше в лагерях не было.

Я вошла в тесную комнатку, где стояли кровать, стол, два стула. С бьющимся сердцем села...

Отворилась дверь, вошел Николай.

Я с трудом узнала его: за четыре года он превратился в старика, съеденного туберкулезом.

Я пробыла у него неделю. В моей страшной жизни эта неделя была одной из самых тяжелых.

В конце пришел какой-то начальник и сказал, что Адамова можно активировать по здоровью, если я дам подписку, что буду его содержать и не предъявлю никаких претензий.

Я, конечно, дала эту странную подписку, и мы вместе вернулись в Караганду.

Начался наш новый этап жизни с Николаем в Караганде. Здоровье его заметно улучшилось, он поправился, окреп и вновь включился в политические споры. Надо сказать, что мы с ним часто расходились в оценке событий. Наши темпераменты были очень разные: он — боец, бесстрашный человек, а я — смертельно напуганная. У нас часто возникали споры.

В этот период в Караганде я вновь начала писать свои воспоминания, прерванные вторым арестом. Помню, я закончила главу "Лиза" и прочла ее Николаю. Ему очень не понравилось.

— Лиза твоя — предательница. Дочка ее спрашивает, как ей жить, спрашивает, неужели ты у "них" брала деньги, а она, боясь, что дочку не примут в комсомол (чтоб он сдох!), отвечает: "Да, я виновата". Она предала не только себя, всех нас! Всех признала виноватыми и в шпионаже и в террактах. Разве так надо писать об этом времени? Надо так писать, чтобы стены тряслись, чтобы крыша падала на их подлые головы! А ты жалеешь Лизу! Бедная Лиза!

Я не могла с ним согласиться и не могла писать иначе. Я ведь совсем не была политиком. Я только горячо жалела своих товарищей по несчастью и ненавидела наших палачей.

В это время шли слухи, что многих реабилитируют, и мы решили уехать из Караганды, чтобы хлопотать о реабилитации. Я поехала в Москву, а Николай — в Воронеж, где он был осужден и где находилось его дело. Приехав в Воронеж, Николай не только довольно быстро добился реабилитации, но и восстановился в партии. Когда на партийном собрании секретарь, вручая билет, поздравил Николая, он ответил:

— Это не меня надо поздравлять, я поздравляю вас с тем, что в партию возвращаются такие люди, как я.

Собрание было потрясено.

Николаю дали в Воронеже квартиру, он прописал к себе племянницу — студентку воронежского вуза. Сразу же нашлось много товарищей по комсомолу и гражданской войне, тоже в свое время репрессированных, но еще не реабилитированных. Николай хлопотал за

них. Дом его был полон людьми, о которых он заботился, которые его уважали, признавали своим лидером. Он был в своей сфере, в своей стихии. Он устроился на работу. Племянница обожала его, как и он ее. Она вела хозяйство, он жил в семье, где был главой и кумиром, что ему было необходимо.

За это время он несколько раз приезжал ко мне в Москву, но в нашей семье он не мог найти себя. Он был чужой в моей среде и остро чувствовал это. А я не могла уйти из своей семьи: я была поглощена уходом за стареющими и болеющими сестрами, появились внуки, и мне казалось, что это ко мне вернулись мои дети, они заполнили мою жизнь. Так мы остались жить каждый в своей семье, переписывались, иногда встречались.

Здоровье Николая, подорванное туберкулезом, все более ухудшалось. Он часто болел. Однажды я получила трагическое известие от его племянницы: он заболел воспалением легких, попал в больницу и умер там.

Было ему 62 года.

Реабилитация

В 1955 году я приехала в Москву хлопотать о реабилитации. Все тянулось страшно медленно; для подачи заявления на реабилитацию требовались справки со всех мест, где я была прописана после освобождения из лагеря. А я сама не помнила, где и сколько раз я была прописана. Ведь жила-то я в Москве нелегально, а прописывалась за деньги то здесь, то там. Требовали характеристику с места работы, а на работе не очень-то давали характеристики наверное, имели соответствующие указания.

Наконец я подала заявление о реабилитации. Дело мое попало к прокурору Иванову, человеку с оловянными глазами, который каждый раз, когда я, прождав 5 — 6 часов в очереди, входила к нему, говорил деревянным голосом:

— Ваше дело будет разобрано в свое время. Очередь до вас еще не дошла.

Однажды он открыл шкаф и показал мне целую библиотеку дел в одинаковых папках.

— Вот профессорское дело, по которому проходите вы и ваш муж. Видите — более ста участников, и все дел надо разобрать.

— А многие ли из участников живы? — спросила я. Он замялся.

— Кое-кто жив.

— Так нельзя ли начать с дел тех, кто жив, а то, боюсь, до своей очереди никто не доживет.

Так это тянулось до Двадцатого съезда. После съезда, в начале марта, я пришла в Верховный суд и узнала, что мое дело передали другому прокурору. Фамилии его я, к сожалению, не помню. Мне велели кратко написать о своем деле. Я написала: "20 лет жду суда. Дождусь ли я его до смерти или нет?"

Меня и жену моего брата, которая везде со мной ходила, впустили к прокурору. Нас встретил молодой веселый человек, лет тридцати пяти, по-видимому, армеец. Я подала ему свое заявление.

Невестка, которая раньше не видела, что я написала, ужаснулась и начала извиняться.

— Она такая нервная, уж вы извините ее.

Он широко улыбнулся.

— Будешь нервная, понять не трудно. Теперь дело пойдет быстро. Я думаю, не больше месяца.

— Но меня выселяют из Москвы. Вчера была милиция и велели мне в двадцать четыре часа покинуть Москву.

— Прячьтесь, прячьтесь от милиционеров. Скоро это кончится. Вы можете пожить немного в другом месте?

— Могу, у сестры.

— Дайте телефон, я вам позвоню.

8 марта раздался телефонный звонок и веселый голос моего прокурора сказал:

— Получайте подарок на 8 марта. Ваше дело разобрано, справку о реабилитации получите в канцелярии Верховного суда. О дне вас известят. Поздравляю.

Когда я пришла в назначенный день за справкой, в приемной было человек 20, почти все женщины лет по 50 и старше. Одна глубокая старуха украинка с полубезумным взором. Она все что-то шептала сама себе. У окна сидел и курил мужчина лет сорока.

Вызывали по очереди. Из кабинета выходили и опять чего-то ждали. Когда назвали фамилию мою и моего мужа, мужчина, сидевший у окна, восторженно вскрикнул. Я зашла и получила справки о реабилитации. Мне сказали, что нужно подождать в приемной, выдадут справки на получение паспортов и денег.

Справка моя гласила следующее:

"Военная Коллегия Верховного суда Союза ССР. От 6.4.1956 г. № 44-03393/56

Справка

Дело по обвинению Слиозберг-Адамовой Ольги Львовны пересмотрено Пленумом Верховного суда Союза ССР 24.V.1956 г.

Приговор Военной Коллегии от 12.XI.1936 г., Постановление Верховного Суда СССР от 21.XI.1940 г. и постановления Особого Совещания при МГБ от 19.XI.1949 года в отношении Адамовой-Слиозберг отменены, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Председательствующий судебного состава Военной Коллегии полковник юстиции П.Лихачев".

Арестована я была 27 апреля 1936 г. Значит, я заплатила за эту ошибочку 20 годами 41 днем жизни.

Когда я вернулась в приемную, мужчина, сидевший у окна, подошел ко мне.

— Скажите, ваш муж читал в университете истории естествознания?

— Да, до 1936 года.

— Я учился у него. Какой это был преподаватель! Более широкой эрудиции, блеска изложения, любви своему делу я не встречал ни у кого.

Мы замолчали. Вышел военный и стал выдавать справки на получение паспортов и компенсаций.

Мне полагались двухмесячные оклады, мой и моего мужа, и еще 11 руб. 50 коп. за те 115 рублей, которые были у моего мужа в момент смерти.

Старуха украинка, получив справки, дико крикнула.

— Не нужны мне деньги за кровь моего сына, берите их себе, убийцы. — Она разорвала справки и швырнула их на пол.

К ней подошел военный, раздававший справки.

— Успокойтесь, гражданка... — начал он. Но старуха снова закричала:

— Убийцы! — Плюнула ему в лицо и забилась припадке. Вбежал врач и два санитаря, и ее унесли.

Все молчали подавленные. То здесь, то там раздавались всхлипывания и громкий плач. Я сама не сумела сдержаться, рыдания душили меня. Мужчина подошел ко мне.

— Я тоже получил справку о реабилитации своего отца. За отсутствием состава преступления... Он, как и ваш муж, был редким человеком.

Мы вышли вместе. Мой спутник довел меня до дома. Он спросил:

— У вас есть сын?

— Да, — ответила я.

— Похож на отца?

— Очень.

— Хорошо хоть это.

Он поцеловал мне руку и ушел. Я вошла в свою квартиру, откуда меня уже не будут гнать милиционеры. Дома никого не было, и я могла, не сдерживаясь, плакать.

Плакать о муже, погибшем в подвале Лубянки в 37 лет, в расцвете сил и таланта; о детях, выросших сиротами с клеймом детей врагов народа, об умерших с горя родителях, о двадцати годах мук, о друзьях, не доживших до реабилитации и зарытых в мерзлой земле

Колымы.

Рассказы о моей семье О национальном чувстве

Я — еврейка.

Я — человек русской культуры. Больше всего на свете я люблю русскую литературу.

Еврейского языка не знаю. Религиозность мне чужда. Мама моя родилась в Москве, отец — в Смоленске, откуда был привезен в Москву в 13 лет. Отцы матери и отца были николаевскими солдатами, прослужившими в армии по 25 лет и получившими за это право жительства во всех городах, так что мир черты оседлости, мир еврейских местечек ни мне, ни моим родителям знаком не был. Я всегда ощущала Россию как свою Родину.

В молодости я была не похожа на еврейку и очень часто натыкалась на антисемитские высказывания. Например, когда мне было 15 лет, я жила с мамой в Кисловодске, где мама работала портнихой, в парке ко мне подошла женщина и предложила 20 билетов на ванны. Это был дефицит, и я с удовольствием купила ненужные ей билеты.

— Сегодня уезжаю, — сказала она мне, — да жалко, билеты не использовала. Некогда мне, а два часа бегаю по парку, ищу русское лицо — все жидовки попадают, весь Кисловодск заполнили!

Я отдала ей деньги, а на прощание сказала:

— Должна вас огорчить. Билеты достались мне, а я еврейка.

Моя собеседница фыркнула и убежала.

Чтобы избежать подобных случаев, я всегда при первом знакомстве старалась как-нибудь упомянуть о своей национальности.

Я очень остро воспринимаю малейшее проявление антисемитизма. Беды еврейского народа меня глубоко трогают.

Знаете ли вы, что такое кантонисты? Наверное, очень смутно. Я сейчас приведу свидетельство Герцена, который столкнулся с этим страшным явлением и так написал о нем, как я, конечно, написать не могу. (Герцен А. Былое и думы. "Детская литература". 1976 г., с. 218.)

Разговор Герцена с офицером в вятской деревне.

"Герцен. Кого и куда вы ведете?"

Офицер. И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну да про то знают першие, наше дело исполнять приказание, не мы в ответе, а по-человеческому некрасиво.

Герцен. Да в чем дело-то?

Офицер. Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают — не знаю. Сначала велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Я принял верст за сто. Офицер, что сдавал, говорит: "Беда, да и только, треть осталась на дороге (и он показал пальцем в землю)".

— Повальные болезни, что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности.

— Не то чтобы повальные, а так, мрут, как мухи. Жиденок, знаете, этакий чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари — опять, чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет, да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятами делать?..

Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, какие я видел, — бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще как-то держались, но малютки восьми, десяти лет...

Бледные, изнуренные, с испуганным видом стояли они в неловких солдатских шинелях... обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их... И эти больные дети, без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу...

Я взял офицера за руку и, сказав "поберегите их", бросился в коляску. Мне хотелось

рыдать, я чувствовал, что не удержусь".

Так вот, оба мои деда были кантонисты. Отец матери, Шнейдер, умер задолго до моего рождения, а дедушка Арон Слиозберг жил с нами до моих десяти лет, и я очень любила его. Дедушка часто рассказывал о своем детстве моей няне и бабушке (маминой маме). Мне тогда было три-четыре года, он не думал, что я слушаю его рассказы и что-то понимаю, а я очень понимала. Я ночью не могла спать и все думала о том, как дедушку забирали от отца и матери, как он страдал, как боялся злых начальников! Моя старшая сестра добавила к моим страхам еще одно: она прочла мне главу из "Хижины дяди Тома", где продали маленького негрятенка и мать убежала с ним через реку в Канаду, прыгая по льдинам от преследователей. В голове моей все перемешалось: бедствия еврея дедушки, бедствия негрятенки Элизы. Я почему-то решила, что и меня могут отнять у мамы. Я ведь тоже не такая, как мои подруги- русские, я ведь какая-то бесправная! Этот страх долго мучил меня. Я почему-то об этом никому не говорила, но по ночам думала, боялась, страдала.

Еще увеличившим мои мучения был страх еврейского погрома. В 1906 году ждали погрома, прибежали какие-то женщины и рассказывали, что на окраине Самары уже собрались погромщики с портретами царя и крестами, с криками "Бей жидов, спасай Россию!". Что уже разбили и разграбили какие-то лавки и убили одного старика. Няня одела меня и сестренку и хотела нас увести к своим знакомым, которые согласились спрятать нас. Мой двоюродный брат Миша, студент, сбросил куртку и в белой нижней рубашке сел на табуретку у двери. В руках у него был топор. Мама уговаривала его спрятаться, пусть все грабят, но он упрямо повторял: "Первому, кто сюда сунется, проломлю топором голову".

Все время кто-то прибегал, рассказывал подробности: идут по Заводской, по Николаевской, идут, идут... Мама послала няню за извозчиком и поехала к губернаторше. Она шила на нее и неоднократно ездила к ней на примерки. Губернаторша не знала о погроме, ужаснулась маминому рассказу, позвала мужа, рассказала. Он вызвал полицмейстера. Говорили они по-французски, но мама поняла, что о чем-то спорили. Потом губернатор сказал: "Не бойтесь, полиция их разгонит". Их действительно разогнали, и погром не состоялся. Но в душе моей страх остался жить на долгие годы.

В 1909 году моего двоюродного брата Леву в третий раз не приняли в гимназию. Для того чтобы попасть туда еврею, надо было сдать экзамены на все пятерки, так как норма приема была 2,5 % от общего количества учащихся. (По этой же причине С.Я.Маршак не попал с первого раза в гимназию, хотя он всех поразил своими способностями.) Леву все ругали, но он, бедняга, обязательно получал четверку или тройку по какому-нибудь предмету и в гимназию не мог попасть. Он был на три года старше меня, но и мне уже исполнилось восемь лет, и нужно было думать о гимназии.

Рядом с нашей квартирой была частная гимназия Хардиной. Там был приготовительный класс, куда принимали девочек с 8 лет. Но мама меня не хотела отдавать в приготовительный класс, чтобы не платить за учение лишних 80 рублей за год. Читала я свободно, писала плоховато, но сестры могли меня подготовить, и мама хотела, чтобы я пошла учиться сразу в 1 класс.

Как-то утром я вышла поиграть с соседскими подружками, но они сказали мне, что играть сегодня не будут, так как идут сдавать экзамены в гимназию в приготовительный класс. "И я с вами", — сказала я и, не спросив у мамы, отправилась в гимназию. Начался экзамен.

— Кто умеет читать?

Умели все, но я прочла уже несколько романов Жюль Верна и Майн Рида и, конечно, получила за чтение пятерку.

— Кто умеет считать?

Я знала даже таблицу умножения — память была хорошая. Опять пятерка.

— Кто умеет писать?

Это было хуже. Писала я очень плохо. Но я старалась что есть сил. Однако как-то посадила кляксу, потом вторую! Подошла учительница.

— Покажи, что ты наклеила?

Увы! Я получила за письмо тройку. Я была убита, ведь Леву не принимали в гимназию из-за четверок! (Я не знала, что в частной гимназии Хардиной нет нормы для евреев.)

— Последнее, — спросила учительница, — кто умеет читать стихи?

Все подняли руки. Учительница сначала велела читать другим девочкам, а потом вызвала меня.

— С выражением? — спросила я.

— Да, конечно.

Я читала "с выражением": вертела попкой, становилась на цыпочки, закатывала глаза, тонким голосом восхваляла ворону. Учительница засмеялась.

— Погоди-ка! — сказала она и кликнула учителей, пришедших на большую перемену в учительскую. — Подите-ка сюда, у меня здесь артистка завелась, стихи читает.

Меня поставили на стол. Тут уж я совсем разошлась, закрывала глаза, вертела попкой. Учителя смеялись. Помню одного старого учителя, он снимал очки, вытирал платком глаза и стонал: "Ой, не могу, ой, не могу".

Я кончила "Ворону и Лисицу" и спросила:

— Еще читать? — прочла "Стрекозу и Муравья" и готова была продолжать, потому что все смеялись и хвалили меня, но моя экзаменаторша прекратила представление, меня сняли со стола, и она сказала:

— Передай своей маме, что ты принята в гимназию. Очень довольная, я пошла домой, но вдруг меня пронзила мысль: "Ведь они не знают, что я еврейка! А у меня тройка по письму!"

Я вернулась в гимназию, прошла в учительскую. Учителя пили чай, сидя за столами. Я вежливо сделала реверанс в одну сторону, потом в другую.

— Извините, — сказала я, — я еврейка. Мне будет конкурсный экзамен?

Все засмеялись.

— Ничего тебе не будет, ты уже принята.

Очень довольная, я опять сделала два реверанса и ушла домой.

Одно из самых страшных впечатлений, повлиявших на мою детскую душу, было "дело Бейлиса". В это время мне уже было 11 лет. Папа каждый день читал вслух либеральную газету "Русское слово". Там печатались речи прокурора (Виппера), адвокатов (забыла фамилии), допросы свидетелей обвинения и защиты.

Обвинялся Бейлис в убийстве мальчика лет десяти Андрюши Ющинского с целью добычи его крови для изготовления мацы.

В общем, обвинялся весь еврейский народ в убийстве христианских младенцев в ритуальных целях. Царское правительство и черносотенные газеты горячо поддерживали это дикое обвинение. Русская интеллигенция встала на защиту Бейлиса.

Суд шел с присяжными заседателями, которых специально назначили из малограмотных крестьян в надежде, что их легко сагитировать против чуждых им евреев, распявших Христа.

Но защита так блестяще работала, что сумела доказать: мать Андрюши (Вера Чеберяк) сама была причастна к убийству сына (она была членом преступной шайки, которую Андрюша грозил выдать полиции). Присяжные заседатели поняли придуманность обвинения Бейлиса и вынесли оправдательный приговор.

Я помню до сих пор чувство бесконечной благодарности к русской интеллигенции и любви к Короленко, писавшему в защиту Бейлиса...

Я помню, как после известия об оправдании я с папой вышла на улицу, и как подходили малознакомые люди, евреи и русские, обнимали нас и поздравляли. Это было счастье.

Казалось, революция как метлой смела с души все национальные чувства. Какая разница, кто мы: евреи, русские, татары или китайцы.

Увы! Предстояло еще пережить и звание "безродных космополитов", и процесс "убийц

в белых халатах", и даже расцветшую в наши дни "Память".

Юдель Рувимович Закгейм

Я написала почти обо всем, что видела, что пережила. Почти. Но я не написала об одном, о своем муже. Как только начинала писать — сердце разрывалось. Думала:

"Потом напишу, сейчас не о таком больном..."

Недавно по телевизору я увидела свалку останков (кладбищем это не назовешь). Это были убитые заключенные, "враги народа"... И вдруг показывавший поднял один череп. Голый череп с круглой дыркой во лбу над глазом. Мне показалось, что это череп моего мужа. Всю ночь я не могла спать. Перед глазами стоял муж с пулевой раной во лбу.

Сейчас уже почти никого не осталось в живых, кто знал бы его! Кроме меня. Я все откладывала воспоминания, защищалась от них. Больше откладывать нельзя. Мне уже 88 лет, если я не напишу о нем — не напишет никто.

Но сердце-то разрывается! Пусть рвется. Я начинаю писать.

Юдель родился в 1898 году в очень религиозной семье в городе Витебске. В доме говорили только по-еврейски. Учиться мальчика отдали в еврейскую школу, ведь в гимназии по субботам надо было писать, а это большой грех. Однако кто-то из учителей оценил большие способности мальчика и уговорил отца после окончания школы отдать сына в гимназию.

Я впоследствии нашла его гимназический табель. По всем предметам 5, по русскому — 2 или 3. Однако года за два он овладел русским языком. В это время началась первая мировая война. Закгеймы стали беженцами. Они поехали в Самару, где Юдель окончил гимназию. После революции он переехал в Москву и поступил на биофак пединститута им. Крупской.

Очень быстро проявились необыкновенные способности Юделя. Он от природы был блестящим оратором, и в институте его использовали как пропагандиста. Выходец из религиозной среды, он блестяще знал Библию, историю религий, однако стал убежденным атеистом. Его общественным поприщем стала пропаганда атеизма. Закгейм, как и многие другие в этот период, искренне считал, что мораль коммунизма несравненно выше морали, которая закрепляется религией.

В 1925 году в институт поступило письмо из ЦК партии с просьбой прислать кого-нибудь в Московский университет для преподавания политграмоты. Послали Юделя, не дав ему окончить институт. Так он оказался преподавателем университета даже без справки о высшем образовании, но это его мало заботило.

В 1931 году он уже был доцентом кафедры диалектики природы, одновременно выполняя обязанности доцента кафедры истории и философии и кабинета естествознания (так записано в его трудовой книжке). В 1935 году кто-то проверял научную подготовку преподавателей, и вдруг выяснилось, что Закгейм не имеет даже высшего образования! Ректор университета, который хорошо знал Юделя, вызвал его к себе и приказал за три месяца написать и защитить диссертацию. Задача почти невыполнимая. Дело в том, что у Юделя было одно свойство: он великолепно рассказывал, но очень трудно писал. Стоило ему сесть за стол с ручкой, как мысли куда-то разбегались, он никак не мог их стройно расположить. Тут на помощь решила прийти я.

У нас с ним было в обычае, после того, как уснут дети, мы ходили гулять, и он мне рассказывал о своей работе, о своих лекциях, о проблемах науки. Ничего интереснее для меня не было, чем эти его рассказы, я даже начала немного смыслить в естествознании. И вот мы решили работать вместе. Он составил план диссертации и главу за главой рассказывал мне. Я конспектировала, потом переписывала и отдавала машинистке. Юделю оставалось только отредактировать перепечатанное. Приказ ректора был выполнен, диссертация написана, и через три месяца он ее защитил. Называлась она "Развитие физиологии высшей нервной деятельности в XVIII веке". Постановление комиссии было:

"Присвоить Закгейму звание кандидата биологических наук, предложить продолжить работу и представить на звание доктора наук". Увы, жить ему оставалось менее года.

Через много лет мой сын хотел в архивах университета найти эту диссертацию, но не смог.

Юдель был очень горячим отцом. Перед дочкой он вообще был бессилён. Часто, когда он готовился к лекции и сидел над книгами, она подходила к отцу и заявляла:

"Хочу играть в лошадки". Он беспрекословно откладывал книгу, сажал ее на шею и скакал по комнате.

— Ты портишь ребенка, — говорила я.

— Ей так интересно скакать на лошади, а мне так приятно чувствовать ее толстые ножки на своей шее!

К сыну он очень внимательно приглядывался. В его головке, в его бесконечных "почему" он часто улавливал серьезные мысли, которые казались ему признаками одаренности мальчика.

Вспоминаю один случай. Шурик заболел и лежал в кровати с температурой 38 градусов. Я сидела около него. На мраморном столике рядом с кроватью лежал градусник.

— Мама, — попросил Шурик, — расскажи мне, как устроен градусник.

Я обрадовалась: не на каждый его вопрос я умела ответить, а тут — чего проще. Я рассказала, что ртуть от нагревания расширяется и идет по трубочке вверх, а на шкале помечены градусы температуры.

В это время в комнату вошел отец.

— Ну, как дела? — спросил он, взял со столика термометр и сказал: — Опять 38, не спускается! Шурка вскинулся:

— А мама мне про градусник неправильно рассказала!

— Почему? — спросила я.

— Если бы было, как ты рассказала, на градуснике не было бы 38! Ведь он лежит на холодном столе, и ртуть давно бы сжалась!

Юдель объяснил, как устроен градусник, а потом наедине меня дразнил: "Тебя посадил в галошу пятилетний мальчишка! Вот что значит увлекаться романами и стихами. Не сумеешь объяснить, как устроен термометр! А Шурка — молодец!"

Я не знаю никого, кто так бы любил педагогическую работу, как Юдель. Он преподавал историю биологии. Рассматривая какой-либо период, будь то XVI или XVIII век, он старался, чтобы студенты вжились в эту эпоху, почувствовали ее быт, религию, искусство. В 1935 году было 250-летие со дня рождения Баха. Из Ленинграда приехала капелла с двумя концертами: "Страсти господни по Матфею" и "Месса". Юдель решил повести своих студентов на "Страсти". Он собрал их в аудиторию (и я там была) и рассказал о творчестве Баха, о содержании "Страстей". У него был хороший, хотя и небольшой голос и абсолютная музыкальность. Он даже напел некоторые темы из "Страстей". Назавтра мы все (человек 15) пошли в консерваторию.

Я думаю, никто из нас без подготовки не пережил бы этот великолепный концерт так горячо. Я до сих пор помню пережитое потрясение, я не могла сдержать слез во время исполнения. То же было с другими.

В ту же зиму он повел весь свой курс на выставку картин XVII века (студенты тогда изучали историю естествознания XVII века). Картины были в основном на библейские сюжеты, а кто в 30-х годах знал Библию? Юдель так интересно рассказывал о картинах, о художниках, что около нас образовалась большая толпа — все хотели слушать такого экскурсовода.

Юдель очень любил, когда к нам заходил кто-либо из его бывших учеников, иногда даже приехавших в Москву всего на пару дней. Он не знал, куда посадить гостя, как обласкать. Они разговаривали часами о жизни и работе друг друга. После его ухода Юдель хвастался, как маленький:

— Ты видишь, как меня помнят и любят! — Сам он очень любил и уважал своих

учеников, интересовался их жизнью и творческой судьбой.

Кроме педагогической работы в университете у Юделя было еще одно пристрастие. В 1925 году он организовал научный кружок по истории медицины. В 1935 году кружок еще регулярно работал. В это время его члены были уже врачами и даже профессорами. Примерно раз в месяц все собирались и докладывали о своей работе, о достижениях зарубежной медицины. Я помню слова одного профессора-хирурга: "Времени у меня нет, все режу да режу. Вот ослабеет рука — напишу о нашем кружке. Ведь за 10 лет никто его не покинул! Это тоже культурное явление, и довольно редкое!"

В этом кружке был свой *enfant terrible*. К сожалению, ни имени, ни фамилии его я не помню. Это был маленького роста худой человек. У него было прозвище "сорокапятикилограммовый профессор". Назову его условно Валерий, хотя, кажется, его звали по-другому. Валерий был антидарвинист. Он считал, что строгой проверки с точки зрения философии и естествознания теория Дарвина не выдерживает. Все спорили с ним, ругали его идеалистом, буржуазным философом, говорили, что так он может дойти до религиозности. Единственным человеком, который не поучал Валерия, был Юдель. Я как-то спросила:

— Почему ты не объяснишь Валерию, что он не прав? Ведь ты так хорошо знаешь Дарвина!

— Он знает Дарвина лучше, чем я. Но еще он блестяще знает философию и естествознание. Как я могу его учить? Знаешь ли ты, как он умен, талантлив? Перед ним широкая дорога. Его имя войдет в историю русской науки рядом с именами Менделеева, Павлова, Тимирязева!

Юдель ошибся. Этот разговор был в 1935 году, а 10 марта 1936 года и Юдель, и Валерий, а скоро и я, и большинство членов их кружка были арестованы.

Я помню, следователь меня спросил, бывал ли Валерий у нас и какого мнения о нем был мой муж. Наивно полагая, что я говорю что-то полезное для Валерия, я ответила:

— Муж считал его необыкновенно знающим, талантливым человеком. Он говорил, что Валерий будет крупным ученым...

На что следователь цинично ответил:

— Все они умники. Нам таких и надо, дураки нам ни к чему.

Много позже я узнала, что Валерий умер на следствии, а Юдель получил приговор "10 лет без права переписки" — это означало смертную казнь. И до сих пор мне снятся сны, что Валерия бьют палками по его чудесной голове, а Юделя садист-палач расстреливает не в затылок, а в лоб, чтобы насладиться предсмертным ужасом на его лице...

Я прожила с Юделем всего восемь лет из моей долгой жизни. Всякое было в эти восемь лет. Он был абсолютно не приспособлен к решению житейских проблем. Такие трудноразрешимые (и в то, и в нынешнее время) задачи, как замена разбитого стекла, ремонт крыши, наем дачи и пр., всегда ложились на меня. Но эти мелочи не вспоминаются. Я помню только восемь лет жизни с ним, полные глубокого счастья.

Прошло более полувека, как Юделя нет в живых, а боль за него, сны о нем не покидают меня.

Это со мной навсегда.

Борьба родных за моих детей

Я написала книгу воспоминаний "Путь", стремясь передать тяжесть судьбы моих сокамерниц, почти всех совершенно невиновных, попавших в страшные когти КГБ. Хотела донести до людей, разоблачить ложь, возводимую на людей с заткнутыми ртами. Как мне удалось это сделать, судить читателю.

Перечитывая написанное, я вдруг поняла, что почти ничего не сказала об одной судьбе. Это судьба моей семьи, ее многолетняя борьба за меня, преодоление страха тоже попасть за решетку. А сколько было таких семей! Сколько матерей проводили дни в огромных очередях

за справками и с передачами! В очередях к важным чиновникам, умоляя о пересмотре дел их детей! Сколько бабушек и дедушек, зная об ужасных условиях в детдомах для детей "врагов народа", мучились, не имея возможности помочь внукам! Сколько делились последним куском хлеба, посылая посылки в лагеря!

Об этой борьбе я хочу рассказать на примере моей семьи.

Когда в 1936 году меня и мужа арестовали, у нас оставались две большие хорошие комнаты в коммунальной квартире. Детям было 6 и 4 года. Мама слышала, что детей арестованных забирают в детские дома, а их квартиры отдают энкаведешникам. И первой заботой моих родителей стало спасение детей. Маме очень быстро удалось обменять две наши комнаты на одну одиннадцатиметровую в большой коммунальной квартире на Петровке, где жили мои родители и сестра Елена с сыном.

Детей прописали, комната, принадлежащая им, была незавидна, и мама немного успокоилась, переключив всю свою энергию на хлопоты за меня. Но увы! В один страшный день пришли трое мужчин и старший спросил:

— Здесь живут дети врагов народа Закгейма и Слиозберг?

— Да, — ответила мама, замирая от ужаса.

— Мы пришли за ними. Есть распоряжение забрать их в детский дом.

Мама втолкнула детей в их комнату, заперла дверь на ключ и положила его себе за пазуху.

— У вас есть ордер меня арестовать? — спросила она.

— Нет, — ответил мужчина. — Мы вас арестовывать не собираемся, мы пришли за детьми.

— Так вот, — сказала мама, — можете меня арестовать, можете убить, но, пока я жива, я детей не отдам!

Отец мой встал спиной к двери детской. На лице его было написано: пока я жив, я детей не отдам!

По-видимому, энкаведешники не ожидали такого отпора. Они привыкли встречать страх и покорность. Старший переглянулся со своими товарищами: не драться же со стариками!

— Ну, что ж, придем и с ордером.

Видимо, попался все же неплохой человек, не совсем потерявший совесть. Мог и оттолкнуть, и дверь сломать. А этот только пригрозил. Но следует учесть, что это был еще только 1936 год, когда карательная машина только набирала обороты, и отпор родителей сработал.

Над семьей навис ужас. Стали лихорадочно искать выход. Решили, что единственный, кто может помочь, — Владимир Аркадьевич Тронин, муж моей сестры Полины. Герой гражданской войны, орденосец, друг Фрунзе и Куйбышева, он в это время был членом коллегии Наркомвода (может быть, даже заместителем наркома). Я видела у него пропуск в Кремль, на котором было написано:

"Член правительства".

Все с тревогой ждали, когда Владимир придет с работы. Согласится ли просить за детей "врагов народа"?

Владимир Аркадьевич, ни минуты не задумываясь, обещал сделать все, что сможет. И действительно через некоторое время ему удалось получить разрешение оставить детей у бабушки и дедушки под его, Тронина, личную ответственность за их воспитание. Так были спасены мои дети, они не знали сиротства, выросли среди любящих людей, заменивших им родителей.

Надо сказать, что Владимир Аркадьевич действительно много внимания уделял моим детям. Они часто гостили в семье сестры, жили у Трониных на даче. Когда началась война, была организована эвакуация детей от Академии наук СССР (Тронин в это время работал в этом ведомстве) в лагерь в Боровое — курорт в Казахстане. Тронин, несмотря на определенные сложности, включил в список трех детей — своего сына и двух моих, над

которыми считал себя опекуном. В парткоме ему пришлось выдержать довольно неприятный разговор по поводу защиты детей "врагов народа". Сестра Полина рассказывала мне комичный финал этого разговора. Исчерпав иные доводы, представитель парткома сказал: "Представляете ли вы, чтобы фашист стал защищать детей арестованного коммуниста?" На что Владимир ответил: "Но я же не фашист, я — коммунист".

Елена Львовна Слиозберг

Старшая моя сестра Елена стала матерью для моих детей. Когда через 10 лет я приехала в Москву, в ее отношении к своему сыну я не могла заметить ни грана преимущества, она любила их одинаково. Отношение к моим еще окрашивалось жалостью и страхом — вдруг с ними что-нибудь случится, как я это переживу.

Сын Елены Дима был на 10 лет старше моих детей. Добрый по природе мальчик, он впитал царившую в семье любовь к детям и относился к ним, как к родным брату и сестре. Елена мне рассказывала, что Диме в школе давали на завтрак две конфетки. Он всегда приносил их детям. Елена ему как-то сказала: "Димочка, ты бы сам съел хоть раз эти конфетки, ведь все вокруг едят, тебе, наверное, очень хочется".

"Нет, мама, ведь они маленькие, им еще больше хочется!"

Я очень люблю своего племянника, но к обычной любви примешивается у меня чувство глубокой благодарности — его любовь и жалость к моим детям, эти конфетки я не забуду никогда.

Сестра Полина тоже прекрасно относилась к моим детям. В течение десяти лет она два раза в год (в дни рождения детей) посылала им по почте посылки, на которых было написано: "От мамы". Один раз дочь написала мне в лагерь: "Мама, как ты догадалась, что я мечтаю о кровати для куклы? Ты мне прислала точно такую, как я хотела! Спасибо!"

Я была бесконечно благодарна всем родным за отношение к моим детям. Но я твердо знала, что никто не мог лучше относиться к ним, чем Елена. Она была просто им мать, благодаря ей они не знали сиротства.

А каким она была врачом!

Когда я приехала, она жила очень трудно: вставала в 6 часов, чтобы успеть сделать маме укол, поставить горчичники, обслужить полуслепому отцу и доехать до работы к 9 часам. Работала она в маленькой больнице водников в поселке Нагатино, куда с Петровки надо было добираться на трех трамваях полтора часа в одну сторону. Возвращаясь часов в 8 вечера, она сразу шла к маме, потом заботилась о хозяйстве (семья шесть человек). Ложилась спать на раскладушке около маминой кровати, потому что почти каждую ночь у мамы были сердечные приступы, Елене приходилось вставать, делать уколы, давать кислород. Так что она хронически не высыпалась.

Приехав в 1946 году, я, конечно, взяла на себя все домашние дела, даже научилась делать маме уколы. Елене стало полегче. Но все-таки она никогда не высыпалась, всегда мечтала о воскресенье, когда я не давала будить ее до 11 часов.

Вдруг в одну субботу она мне сказала:

— Завтра разбуди меня в 6 часов, мне надо поехать в Нагатино.

— Зачем? — удивилась я.

— Принесли годовалого малыша, страдающего глистами. Я прописала ему лекарство в дозе 0,01. А медсестра Катя сказала мне: "А у нас такое лекарство осталось, зачем матери ехать в аптеку? Я ей дам". Я согласилась. А теперь, уже дома, сообразила, что у меня ни разу не было с глистами годовалых, а большим детям я прописывала дозу 0,1. Эта доза может убить годовалого малыша, а я велела матери дать лекарство утром и вечером. Завтра утром поеду к ним, может быть, можно что-то поправить.

— Я поеду с тобой, — сказала я Елене.

Мы приехали в Нагатино в 8 часов утра. Кто нас ни видел, все удивлялись, что Елена приехала в воскресенье. Все зазывали нас попить чайку. Мне было чрезвычайно приятно

видеть, с какой любовью и уважением жители Нагатина относятся к Елене.

Дом, куда нам надо было идти, стоял на отшибе. С замирающим сердцем мы постучались. Открыла молодая женщина, она мыла полы. Она радостно пригласила нас в дом, а потом удивилась, что Елена приехала в воскресенье, да еще так рано. Елена что-то придумала.

— А я перед вами виновата, Елена Львовна, — сказала женщина. — Вы велели на ночь дать и утром, а я принесла его, а он спит. Пожалела будить. И сейчас еще спит!

От сердца отлегло. Послышался голосок ребенка. Мать побежала и принесла очаровательного малыша, который уже умел стоять на своих толстых ножках.

— Он и говорить начал, — сказала мать. — Петенька, скажи, кто это? — спросила она у ребенка. Петя показал пальчиком на Елену и сказал:

— Баба.

— Ну, не умница? Ведь не сказал "тетя", видит, женщина пожилая, сказал "баба", — и она расцеловала его ножки. — Может, это нехорошо, но мне кажется, что лучше моего Пети нет ни одного ребенка.

Мы с Еленой слушали мать и представляли себе, что могло бы быть, если бы мы опоздали. Елена попросила мать ребенка показать ей лекарство, которое вчера дала сестра. Елена спрятала его в сумочку, написала другой рецепт, подчеркнув дозу 0,01.

— Я подумала, — сказала она, — что это будет ему лучше.

Когда мы уходили, от пережитого волнения у нас подкашивались ноги. Мы пошли к медсестре Кате. Я еще никогда не видела Елену такой взбешенной!

— Вы уволены! — кричала она. — Вы могли убить ребенка! Не думайте, что вам удастся устроиться где-нибудь медсестрой! Я всем расскажу, за что я вас выгнала с работы. Вас нельзя подпускать к медицине на километр!

Катя плакала, клялась, что теперь будет по три раза проверять назначения, просила простить ее, клялась памятью матери никогда не забывать этого ужасного случая.

Мы с Еленой поехали домой. Через полчаса приехала Катя. Она умоляла простить ее. Елена видела ее раскаяние и, конечно, простила. Об этом случае никто не узнал.

Надо сказать, что хотя Елена была терапевтом (в это время она заведовала терапевтическим отделением больницы), но она никогда не отказывала в приеме детей, и все женщины поселка предпочитали вести детишек к ней. Дети ее очень любили. А еще хочу сказать, что Елена имела просто дар диагноста, она необыкновенно чувствовала больного. Я знаю несколько случаев, когда она при

очень неявной картине диагностировала аппендицит и тем спасала людей.

Помню такой случай. В поселке Нагатино жила одна женщина Анисья с десятилетним сыном Васей. Анисья отличалась тем, что всегда стояла за "правду", громким голосом возмущалась любой несправедливостью (эта подробность важна для дальнейшего). Однажды Анисья пришла к Елене с плачущим Васей и сказала, что ребенок всю ночь плакал — болит живот. Елена посмотрела его, и что-то ей показалось похоже на аппендицит. Вызвала хирурга. Хирург был молодой, неопытный, но очень самоуверенный. Он осмотрел, прощупал Васю и безапелляционно сказал: "Никакого аппендицита нет, наелся какой-нибудь дряни. Дайте ему касторки, все пройдет".

Но Елена не позволила давать касторку, ее очень тревожило Васино состояние. Она решила сама вместе с ними ехать в детскую больницу. Всю дорогу Вася плакал. В больнице их приняли сразу. Врач увел Васю, а Елене и Анисье велел ждать в приемной. Ждали довольно долго, начали волноваться. Наконец вышел врач и сказал Анисье:

— Благодарите бога, что у вас такой врач. Ребенок мог погибнуть. Сделали операцию в последнюю минуту, аппендикс был надут до предела. А хирург ваш не очень виноват — аппендикс лежал под печенью, он не смог его прощупать, тут нужен большой опыт. Через два дня приезжайте проведать, а через неделю будет бегать.

Потом он подошел к Елене, поцеловал ей руку и сказал:

— Спасибо.

Анисья, конечно, всем рассказывала об этом случае, восхваляла Елену, ругала молодого хирурга.

Это было в 1952 году. Началась гнусная кампания "убийц в белых халатах". В больнице, где работала Елена, было собрание по этому поводу. Представитель Минздрава дал понять, что еврейка не может быть зав. отделением. Все были так напуганы, что никто не возражал. Только Катя попыталась рассказать, какой хороший врач Елена, но ее никто не поддержал.

Тогда Катя отправилась в поселок, собрала человек двадцать женщин, и они пошли в райздрав. Женщины протестовали против снятия Елены с должности. Анисья кричала: "Она мне сына спасла!" Другая: "У моей матери был сердечный приступ, так она целую ночь дежурила, делала ей уколы, массаж сердца. Свою мать бросила, а мою от смерти отвоевала. Разве такие бывают убийцы!" Кто-то кричал: "В других больницах, чтобы попасть к хорошему врачу, надо или десятку дать, или коробку конфет. А к Елене Львовне подойдешь с конфетами — отругает и прогонит!"

Короче, постановление о снятии Елены задержалось. Но вскоре она сама решила уйти на пенсию — появился внук от сына, да и здоровье стало сдавать.

Но и в Москве, и на даче, если кто-то заболел, днем или ночью бежали за помощью к Елене. Так что она была врачом до конца жизни.

Умерла она в 1967 году в возрасте 72 лет.

Дети

Мне 88 лет. Прошло более полувека с тех пор, когда в 1936 году жизнь моя была разбита. Я прошла весь круг тюрем, лагерей, ссылок.

Я очень рада, что написала о пережитом под живым впечатлением, начав писать еще в 1946 году, освободившись после первого ареста, отсидев в тюрьмах и лагерях 8 лет и проведя 2 года без права выезда на Колыме. Писала я ночами, дрожа от страха — ведь при освобождении с нас брали подписку о неразглашении. Сейчас написать так я уже не смогла бы, ведь даже самые яркие переживания с годами блекнут. Я, конечно, вспоминаю о Колыме, пятидесятиградусных морозах, голоде, непосильном труде (я ведь проработала четыре года на лесоповале на Колыме!).

Но одно — живо, и до сих пор не затухает боль при воспоминании. Дети!

Когда меня арестовали, сыну было шесть лет, дочке четыре.

В тюрьме я плохо спала. Измученная за день, я часов в 12 засыпала и почти всегда видела во сне детей. Играла с ними. Целовала их ножки, шейки, головки... В 4 часа я просыпалась, как от укола в сердце — ведь у меня отняли моих детей, может быть, я их уже никогда не увижу!

Первый год после ареста я не имела никаких известий из дома, а следовательно меня пугал, что если я не буду помогать следствию (т. е. подписывать ложные показания на мужа), моих детей заберут в детдом и, возможно, поменяют фамилию, чтобы спасти их от моей разложившейся семьи. Они маленькие, особенно дочка, фамилию свою, конечно, забудут, и я никогда не найду их...

Через год я получила письмо от мамы. Узнав, что дети живут у нее, чуть-чуть успокоилась.

В камере почти все были матери, и разговоры о детях терзали душу. Я уже писала в своих воспоминаниях, как крик вновь поступившей в камеру женщины об оставленном ребенке вызвал массовую истерику. Мы условились о детях не говорить. Днем я как-то отвлекалась — читала, занималась с сокамерницами математикой и английским языком, сама кого-то учила.

Только в ночные бессонные часы, от четырех (у нас в камере был слышен бой часов) до шести (подъем), я позволяла себе вспоминать о детях.

Шурик всегда вспоминался мне слабеньким, беззащитным, меня охватывала щемящая

жалость к нему. Но он поражал меня работой своей головки.

Когда ему было четыре года, мой муж принес плакатик с изображением эволюции: от лягушки, вылезавшей из моря, каких-то зверюшек до обезьянки и, наконец, человека. Сын без конца спрашивал меня:

— А это кто? А как лягушка вылезла из моря, ведь у нее еще не было ножек?

Я, глубоко убежденная в том, что учение Дарвина неопровержимо, как-то все объясняла ему, а что не могла объяснить, говорила:

— Вот придет папа, он нам все расскажет. Однажды сын спросил меня:

— А кто родил лягушку?

— Это была такая маленькая рыбка, которая ее родила.

— А кто родил рыбку?

Я опять что-то придумала и в конце концов дошла до червячка.

— А кто родил червячка?

— Маленький-маленький микробик, — ответила я.

Ответ мой как будто удовлетворил мальчика. Этот разговор был ранней весной. А поздней осенью он вдруг на прогулке сказал:

— Гм... А кто же родил микробика?

Спросим у папы, сказала я, не зная, что ответить, но пораженная тем, что он в свои четыре с половиной года пять месяцев думал над загадкой, которую еще не решила наука.

Эллочка была совсем другим ребенком. Она всегда приходила ко мне в воспоминаниях в каком-то сиянии радости и спокойствия. Однажды на Колыме в минуту острой тоски и отчаяния я посвятила ей стихотворение.

Дочери

Ты росла, золотой мой лютик,
Как цветок на стройном стебле.
Про тебя говорили люди,
Что легко ты пройдешь по земле.
Я легко тебя родила
И вскормила тебя без труда,
Оттого тебя любила
Я спокойной любовью тогда.
Но полмира легло меж нами,
И приходишь ты только во сне.
Голубыми большими глазами
Ты светло улыбаешься мне.
И походкою быстрой и легкой,
Это снится мне каждую ночь,
Темно-русой кивнув головкой, Беззаботно уходишь прочь.
Нету голоса, нету силы
Воротить тебя, удержать.
Вот теперь тебя полюбила
Настоящей любовью мать.

Как-то я гуляла с Эллочкой, Шурик был нездоров и оставался дома. Какой-то мужчина подошел к нам.

— Ой, какая девочка! — сказал он. — Как тебя зовут?

— Эллочка.

— А сколько тебе лет?

— Три года.

— Какая умная девочка!

— Нет, это мой брат Шура умный, а я глупая, но очень красивая!

Ее собеседник был поражен.

— Вот это да! Ну, можете за нее не беспокоиться, без женихов она не останется.

Еще воспоминание.

Как-то мы всей семьей отправились в гости к матери мужа. Эллочке тогда было три года. Но почему-то у нее не было настоящей куклы, только серые резиновые куклята.

На столе у сестры мужа стояла роскошная кукла-грелка в зеленом шелковом платье, с русыми косами. Эллочка схватила эту куклу, и больше мы ее в этот день не слышали. Она с куклой забралась в уголок и непрерывно в нее играла, укладывала спать, кормила, качала. Когда пришло время идти домой, она категорически отказалась отдать куклу, вцепилась в нее, кричала, плакала и говорила, что она останется жить у бабушки, и будет играть с куклой. Отдать эту куклу бабушка не решалась, она принадлежала ее дочери и была ей чем-то дорога.

Уговорить Эллочку мы не могли. Наконец свекровь сказала: "Ну, я тебе отдам куклу, только надо ее завернуть". Взяла куклу и скоро вернула ее, завернутую в газету и завязанную бечевкой. Всю обратную дорогу Эллочка прижимала к сердцу свое сокровище. Приехав домой, я раскрыла сверток, и — о ужас! — куклы в нем не было. Какая-то тряпка, завернутая в газету. Что было с ребенком! Она так кричала и плакала, что я ничего не могла с ней поделать. До 12 часов ночи я ее уговаривала, что мы, наверное, оставили куклу в трамвае, что завтра я поеду и найду ее. Ничего не помогало. Наконец она измучилась и заснула, но продолжала и во сне всхлипывать.

Назавтра я встала в семь часов и к восьми поехала в универмаг. Там купила роскошную куклу в зеленом платье и с двумя русыми косами. Приехав домой, я нашла мужа сидящим около кровати Элочки и пытающимся ее успокоить, но она его отталкивала и горько плакала.

"Вот твоя дочка", — сказала я, подавая ей куклу. Эллочка бросилась ко мне, обняла куклу и, как бы желая быть с нею наедине, побежала в дальний угол, отвернулась от нас и каким-то грудным, низким голосом сказала: "Дорогая моя! Жизнь моя! Радость моя!"

Мы с мужем стояли потрясенные, Я взглянула на него. Он был исключительно сдержанным человеком, но сейчас у него на глазах были слезы.

"Ты подумай, — сказал он. — Такая крошка, а как сильно в ней материнское чувство!"

Однажды один детский писатель, знакомый сестры, задал шестилетней Эллочке вопрос: "Кем ты будешь, когда вырастешь?" Не задумываясь, она ответила: "Я буду просто мама". Ответ ее всех восхитил, и к Эллочке прочно прилипло прозвище "Просто мама".

Каждую ночь я перебирала в уме мельчайшие эпизоды из прежней жизни с детьми, говорила с ними, мечтала об их будущем, тряслась от страха за них. В день двенадцатилетия сына я написала ему стихотворение.

Сыну

Печаль мою не выплакать в слезах,
Не выразить холодными словами.
Она на дне души, как золото в песках,
Лежит, не тронута годами.
Никем не тронута, не ведома, лежит
Неразделенным, мертвым кладом
И душу словно камень тяготит,
И отравляет острым ядом,
О, если бы из золота печали
Я выковать могла чеканный стих
О, если б он ушей твоих достиг
Сквозь мрак отчаянья, сквозь дали!

Сейчас сын — профессор, дочка — доцент, они преподают в вузах, любят свой работу, имеют детей, внуков. Так что судьба их сложилась благополучно, но это большая редкость. Среди моих товарищей по несчастью у большинства судьбы детей оказались изломаны.

Подарок правнучки

Первого августа 1990; года, в день моего рождения, я получила много подарков; книги; цветы, конфеты. Они лежали на столе в саду. Я рассматривала книги. Вдруг я увидела свою пятилетнюю правнучку Таню. Она бежала ко мне и размахивала листочком бумаги,

— Что это, Танечка? — спросила я.

— Это я нарисовала тебе картину. Это подарок.

— Давай.

Я взглянула на листок. Нарисована была избушка, как рисуют дети, но длинная. Под крышей — ряд окон, каждое в решетке. На двери большой замок.

— Что это, Таня? — спросила я, потрясенная.

— Как что? Это тюрьма! Ты забыла, что долго сидела в тюрьме и грустила там?

"Как мы непедагогичны, — подумала я, — обо всем говорим при детях, а они ведь все понимают!"

А может быть, педагогично. Ведь я в четыре года узнала, что такое погром. Может быть, это отложилось в моей душе навсегда ненавистью к погромщикам, где бы они ни орудовали, в Азербайджане или Армения, Тбилиси или Вильнюсе.

Происхождение одной фамилии

Мой свекор Рувим Евсеевич Закгейм был молчаливый еврей, погруженный в священные книги. Иногда он шумно спорил по-древнееврейски с какими-то стариками. Спор касался различных толкований Талмуда и горячо волновал вот уже несколько тысяч лет талмудистов, живущих в своем особом мире, очень далеко от вопросов повседневности.

Один раз я спросила:

— Почему вы дали своему сыну (моему мужу) имя Иуда?

— А что, оно тебе не нравится?

— Оно связано с предательством.

— Каким предательством? О чем ты говоришь?

— Иуда предал Христа, и имя его — символ предательства.

— Какие глупости! Иуда — имя нашего иудейского народа. Как же это имя может тебе не нравиться? Не понимаю!

Он великолепно отвергал христианство. О нем не было написано в его священных книгах, оно было слишком современно для него.

В 1930 году свекор торжественно вошел в мою комнату, где я сидела у постельки новорожденного сына.

— Мне надо поговорить с тобой. Будешь ли ты обрезать ребенка?

Я знала, что дед молил бога, чтобы у меня родилась девочка, потому что понимал, что мальчик останется необрезанным, а это для него была трагедия. Мне было трудно отказать старику, и я решила спрятаться за спину мужа.

— Нет, Рувим Евсеевич, если бы даже я согласилась, ваш сын никогда не разрешит мне это сделать.

— Если ты согласишься, мы сделаем это без его разрешения.

Дед подбивал меня на преступление. Бедный! Сколько же он перестрадал, если решил восстать против обожаемого сына!

— Нет, я не могу этого сделать, — сказала я категорически.

— Но твой сын будет не еврей! Понимаешь ли ты, что это значит?

Я не понимала. Мне казалось совсем неважным, будет ли мой сын евреем, или китайцем, ведь он будет жить при коммунизме! Я никак не думала, что, когда моему сыну будет сорок лет, будет существовать пятый пункт и что дед его мог не волноваться: внук даже при желании не сможет назваться не евреем.

— Знаешь ли ты происхождение нашей фамилии?

Дед вытащил из кармана старинный кожаный футляр, украшенный "могиндовидом" и надписью на еврейском языке. В футляре лежал свиток пергамента. Он торжественно прочел мне непонятный текст на древнееврейском языке и перевел.

Содержание рукописи было следующим.

В семнадцатом веке в местечке Ружаны перед пасхой нашли труп христианского младенца. Ружанскую еврейскую общину обвинили в ритуальном убийстве.

Влиятельный князь, которому принадлежало это местечко, заявил, что он сотрет с лица земли всю общину, если в трехдневный срок не выдадут убийц.

Трое суток день и ночь вся община молилась в синагоге о спасении, а на утро четвертого дня два старика пошли к князю и признались в убийстве.

Стариков повесили на воротах замка.

Община составила две грамоты и выдала их семьям убитых. Одна из этих грамот была в руках у моего свекра. В ней удостоверялось, что старик (имярек) не является убийцей, что он отдал свою жизнь для спасения общины, что в синагоге в Ружанах о душе его будут молиться вечно, а семья его получит фамилию Закгейм, что означает "зерех кейдеш гейм" — семя его священо. Род его должен продолжаться во веки веков, и если не будет наследника мальчика, то дочь, выйдя замуж, передаст эту фамилию своему мужу.

Дед прочел мне грамоту и вопросительно посмотрел на меня,

— Если он будет необрезан, я не смогу отдать ему этой грамоты, а он является наследником рода.

Мне очень хотелось получить этот свиток, и очень жаль было старика, который сильно надеялся, что теперь уж я не устою.

Но я устояла. Оскорбленный, он вышел из комнаты и унес свое сокровище.

Деда давно нет в живых. Во время войны пропал свиток. Последнему Закгейму, сыну моего сына, скоро исполнится год. Он учится ходить. Он еще не умеет держать равновесие и качается на своих пухлых ножках. Я смотрю на него и думаю: сколько бурь пронеслось над человечеством с семнадцатого века, когда "на веки вечные" выдана была грамота семье Закгейм...

Один Закгейм, председатель Ярославского горисполкома, в 1918 году был растерзан во время белогвардейского мятежа. Четверо убиты на войне. Несколько человек погибли в печах Освенцима.

Мой муж расстрелян в подвале Лубянки в 1936 году. И все-таки передается эстафета. В этом крошечном существе течет кровь его прапрапрадеда, отдавшего жизнь за общину.

Что ждет его в конце страшного двадцатого века и в еще более страшном веке двадцать первом?

А может быть, вывезет кривая и продлится род "во веки веков"?